

ПАНАЕВА

СЕМЕЙСТВО ТАЛЬНИКОВЫХ











Авдотья Панаева среди русских литераторов на празднике коронации Александра II.

С акварели Зичи.


ACADEMIA

АВДОТЬЯ ПАНАЕВА

СЕМЕЙСТВО ТАЛЬНИКОВЫХ

ПОВЕСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ:

К. ЧУКОВСКИЙ
«Панаева и Некрасов»

Н. НЕКРАСОВ
Стихи, посвященные Панаевой

«ACADEMIA»
ЛЕНИНГРАД
1928

На акварели акад. М. А. Зичи изображены: Фаддей Булгарин, И. А. Гончаров, Д. В. Григорович, Авдотья Панаева, Ив. Панаев, И. С. Тургенев.

Обложка и рисунок переплета работы Т. В. Шишмаревой

Ленинградский Гублит № 48249. Тираж 5.100 экз.

2-я типография Транспечати НКПС. Ленинград, ул. Правды, 15.

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ.

АВДОТЬЯ ПАНАЕВА И НЕКРАСОВ.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ.

Я всегда любил такие книги, как «Воображаемые разговоры» Уолтера Сэведжа Лэндора или «Воображаемые портреты» Уолтера Пэтера. Очерк, написанный мною, есть до некоторой степени такой же воображаемый портрет одной женщины, почти никому неизвестной.

Именно ее неизвестность и соблазнила меня. Было приятно восстанавливать ее образ по разрозненным и случайным упоминаниям о ней в разных письмах, мемуарах и дневниках. О ней всегда писали бегло, мимоходом. Везде она лицо эпизодическое. Никто ни разу не всмотрелся в нее пристально. Есть много таких мемуаров, где ей отведена всего одна строка, и то в придаточном предложении. Это-то и увлекало меня: собирать незаметные, рассыпанные строки, сопоставлять их, сверять—и воскрешать человека.

Я потратил много мелочного труда на восстановление портрета этой женщины, так как мне кажется, что без ее биографии невозможна биография Некрасова.

К. Чуковский.
1920.

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ.

Теперь, когда новое поколение читателей восприняло «Воспоминания» Авдотьи Панаевой, как один из ценнейших памятников литературного быта сороковых, пятидесятых и шестидесятых годов, я надеюсь, что мне уже не нужно оправдываться, отчего я с таким любопытством всматривался в «неизвестную и никому неинтересную женщину». За это время она стала знаменитой, и ее личность вызывает большой интерес.

А когда я начинал писать эту книжку, имя Панаевой было втоптано в грязь. В 1917 году под редакцией покойного М. Лемке вышел восьмой том сочинений Герцена, и там, на основании небольшого отрывка из одного Некрасовского письма, Панаева была обвинена в воровстве. С обычной своей прямолинейностью Лемке заявил в этой книге, что Панаева единственная виновница так-называемого «Огаревского дела», что она ограбила жену Огарева и навеки опозорила Некрасова.

Многим это утверждение Лемке показалось весьма убедительным, но мне почудилось в нем жестокое (хотя и невольное) искажение истины. Я поставил своей целью — не то, чтобы добиться полного оправдания Панаевой, но во всяком случае смягчить приговор.

К. Ч.
1927.

Подруга темной участи моей...
Н. Некрасов.

I

Смолоду эта женщина была очень красива. «Одна из самых красивых женщин в Петербурге», вспоминал о ней граф Соллогуб.—«Не только безукоризненно красивая, но и привлекательная брюнетка»,—писал такой опытный ценитель, как Фет. И Павел Ковалевский то же самое: «красивая женщина», «нарядная, эффектная брюнетка». И полковник Щербачев то же самое: «молодая, красивая женщина».

И даже близорукий Чернышевский: «красавица, каких не очень много» [1].

Немудрено, что молодой Достоевский влюбился в нее с первого взгляда:

«Я был влюблен не на шутку, теперь проходит, а не знаю еще»...—писал он впоследствии

---

[1] Гр. В. А. Соллогуб. «Воспоминания». П. 1887 стр. 134.—А. Фет. «Мои воспоминания». М. 1890, часть I стр. 32.—П. М. Ковалевский. «Стихи и воспоминания». П. 1912, стр. 270.—«Русский Архив», 1891, I, стр. 61.—«Чернышевский в Сибири». П. 1913, т. III, стр. 60.

брату.—«Она умна и хорошенькая, вдобавок любезна и пряма до-нельзя» [1].

Двадцатишестилетний Некрасов тоже влюбился в нее и чуть не покончил с собою, когда она отвергла его. Сколько пламенных стихов в его книге посвящено этой эффектной брюнетке!

Она вечно в кругу исторических, замечательных, знаменитых людей. Они ее ежедневные гости. Герцен приехал из Петербурга в Москву и прямо в ее дом, к ее мужу,—не нахвалится ее гостеприимством.

— «[Она] мила и добра до невозможности, холит меня, как дитя»,—пишет он из Петербурга жене [2].

Белинский—ее сосед и приятель. Он тоже очарован ее добротой.

— «Попробуйте»—пишет он ее мужу, Панаеву,—«попробуйте отдать деревню в полное ее распоряжение,—и увидите, что чрез полгода, благодаря ее доброте и благодетельности, благодарные ваши крестьяне... сделаются сами господами, а господа сделаются их крестьянами» [3].

Герцен, Белинский, Достоевский, Некрасов—какие имена, какие люди! И Тургенев, и Гончаров, и Грановский, и Кавелин, и Лев Толстой—все у нее за столом, у Пяти Углов или потом у Аничкина моста, и кажется, если бы в иной

[1] Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского, т. I. Биография, письма и заметки из записной книжки. СПБ. 1883. Письма, стр. 42.

[2] А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем. П. 1915, т. IV, стр. 422.

[3] Белинский. Письма, П. 1914, т. I, стр. 331.

понедельник вдруг обрушился в ее гостиной потолок, вся русская литература погибла бы. У нас не было бы ни «Отцов и Детей», ни «Войны и Мира», ни «Обрыва». Ее гостиная или, вернее, столовая—двадцать лет была русским Олимпом, и сколько чаю выпили у нее олимпийцы, сколько скушали великолепных обедов. Сам Александр Дюма восхищался ее простоквашей.

Те, перед кем мы теперь преклоняемся, нередко преклонялись перед нею. Чернышевский схватил однажды ее пухлую ручку и прижал к своим тонким губам [1]. Ему показалось, что Некрасов оскорбил ее, и, чтобы пристыдить оскорбителя, он с преувеличенной, демонстративной почтительностью приложился к ее руке. Это вышло неуклюже, но и впоследствии, уже без всяких демонстраций, просто по влечению сердца, Чернышевский писал Добролюбову: «Поцелуйте за меня руку у Авдотьи Яковлевны» [2], и потом уже в Сибири вспоминал, что он «принял себе за правило: всегда целовать ее руку. И неуклонно следовал решению». Чернышевский чувствовал к ней большую приязнь. Она крестила у него его первенца, навещала его в тюрьме [3]. Когда после кончины Добролюбова, он издал сочинения своего покойного друга, он посвятил эту книгу не Некрасову, не братьям Добролюбова, а именно ей, Авдотье Яковлевне, которая

---

[1] «Русское Богатство», 1910, 4, стр. 112.
[2] «Современный Мир», 1911, 9, стр. 195.
[3] «Научное Обозрение», 1903, 4, стр. 132—3, 137—8, 141.

до последней минуты ухаживала за умирающим критиком. Вот текст этого посвящения, столь похожего на высочайший рескрипт:

«Авдотье Яковлевне Панаевой.

Ваша дружба всегда была отрадою для Добролюбова. Вы с заботливостью нежнейшей сестры успокаивали его, больного. Вам он вверял свои последние мысли, умирая. Признательность его друзей к Вам за него должна выразиться посвящением этой книги Вам.

Н. Чернышевский» [1].

Это хоть для кого аттестат. Это величайшая почесть, которую мог оказать ей Чернышевский: начертать ее имя на книге своего любимого соратника. Переберите письма, дневники, мемуары сороковых и пятидесятых годов, вы не найдете ни единого недоброго слова о ней. «Сколько в ней хорошего»,—пишет, например, Грановский жене.—«В ней много ума и доброты истинной» [2].

Обаятельная, всеми любимая женщина, она вдобавок романистка, писательница. Первый же ее роман вошел в историю: он был запрещен Бутурлиным, знаменитым притеснителем литературы. Книга, в которой этот роман появился, так и не вышла в свет.

Другие два романа она удостоилась писать в сотрудничестве с поэтом Некрасовым. «Боже ты мой, как это хорошо!» восхищался некото-

[1] Собрание сочинений Н. А. Добролюбова. П. 1862.
[2] Т. Н. Грановский и его переписка. М. 1897, стр. 273—277, 281, 284.

рыми местами одного из этих романов молодой энтузиаст Огарев. «Как это из сердца и из жизни вырвано? Как это просто, живо! я... слушал и заплакал... Я заплакал оттого, что это так юношески хорошо» [1].

Об ее повести «Женская доля» сам Писарев написал статью. Правда, статья ругательная, но ведь Писарев ругал даже Пушкина! «Отечественные Записки», «Москвитянин», «Библиотека для Чтения» посвящали не мало страниц критике ее произведений [2]. Она печаталась в лучшем журнале рядом с так называемыми корифеями русской словесности. Такие поэты, как Некрасов и Фет, посвящали ей свои стихотворения [3].

---

[1] М. Гершензон. «Русские Пропилеи», т. IV. М. 1917, стр. 73.

[2] «Библиотека для Чтения». 1862. CXII.—«Москвитянин». 1854, т. I и III—«Отечественные Записки». 1862, 5, 1872, 11—«Дело» 1872, 11.

[3] См. «Современник», 1854, январь, где рядом напечатаны: стихотворение Некрасова «Так это шутка, милая моя», обращенное к Авдотье Панаевой, и стихотворение А. Фета «На Днепре в половодье», посвященное Авдотье Панаевой.

II

И вот теперь нас хотят убедить, будто эта великолепная женщина была самой обыкновенной воровкой.

Нам говорят, будто она обобрала до нитки доверившуюся ей подругу, ловкой уголовной аферой довела несчастную до нищеты и—что̀ хуже всего,—свалила свою вину на другого, на человека ни в чем неповинного, на того же поэта Некрасова, который был тогда в нее тяжко влюблен и принял все хулы и проклятья за содеянное ею преступление.

Это преступление на всю жизнь опозорило имя Некрасова. Друзья его юности отвернулись от него навсегда. Кавелин даже студентам твердил о бессовестности его поведения! Кетчер прокричал на всю Москву, что он низкий человек, аферист [1]. Герцен иначе и не звал его как «шуллером», «вором», «мерзавцем» и даже в дом его к себе не пустил, когда поэт приехал к нему объясняться.

— «За это дело Некрасову и тюрьмы мало!»— таково было до самой могилы убеждение Герцена.

И Тургенев, хоть и пробовал сперва защищать его, вскоре повторил вслед за Герценом:

---

[1] «Голос Минувшего», 1916, 9, стр. 187.

«Пора этого бесстыдного мазурика на лобное место!»

И после кончины Некрасова сколько написано книг, где продолжают казнить его за несовершенное им злодеяние. Анненков и в мемуарах, и в письмах клеймит его, как ловкого мошенника. В книге Гутьяра «Тургенев», в книге М. О. Гершензона «Образы прошлого», в «Воспоминаниях» Н. А. Белоголового, в архиве М. М. Стасюлевича, в записках Тучковой-Огаревой и во множестве журнальных статей рассеяны укоризны поэту. А между тем, повторяю, оказывается, что во всем виновата она, эта прелестная, «кокетливо-любезная женщина, «с бархатистым голоском капризного ребенка», столь любимая Белинским, Грановским, Чернышевским, Добролюбовым, Герценом.

Мы этого не знали до вчерашнего дня. Ровно шестьдесят лет над нашим знаменитым поэтом тяготело обвинение в мошенничестве, и только на-днях мы узнали, что во всем виновата она.

Найдена копия некрасовского письма к этой женщине, посланного из Петербурга за границу в сентябре 1857 года. В этом письме мы читаем:

«...Довольно того, что я до сих пор прикрываю тебя в ужасном деле по продаже имения Огарева. Будь покойна: этот грех я навсегда принял на себя и, конечно, говоря столько лет, что сам запутался каким-то непонятным образом (если бы кто в упор спросил: «каким же именно?», я не сумел бы ответить по неведению всего дела в его подробностях), никогда не выверну прежних слов своих наизнанку и не выдам тебя. Твоя честь была мне дороже своей

и так будет, не взирая на настоящее. С этим клеймом я умру... А чем ты платишь мне за такую—знаю—сам страшную жертву? Показала ли ты когда, что понимаешь всю глубину своего преступления перед женщиной, всеми оставленной, а тобою считавшейся за подругу? Презрение Огарева, Герцена, Анненкова, Сатина не смыть всю жизнь, оно висит надо мной... Впрочем, ты можешь сказать, что вряд ли Анненков не знает той части правды, которая известна Тургеневу, но ведь только части, а всю-то знаем лишь мы вдвоем да умерший Шамшиев... Пойми это хоть раз в жизни, хоть сейчас, когда это может остановить тебя от нового ужасного шага. Не утешаешься ли ты изречением мудреца: нам не жить со свидетелями своей смерти?! Так, ведь, до смерти то позор на мне» [1].

Приведя эти волнующие строки, Мих. Лемке пишет: «читатель уже понял ужасную трагедию в жизни Некрасова, оценил его рыцарскую защиту чести женщины и знает теперь истинную виновницу всего грязного дела».

Но неужели после этого письма Некрасов не расстался с нею? Бежал бы от нее без оглядки, но нет,—чуть она вернулась в Россию, они зажили попрежнему втроем: она, ее муж и Некрасов. Теперь они поселились на новой квартире, на углу Бассейной и Литейной, и опять закипела у них широкошумная литературная жизнь. Летом переехали в Петергофскую виллу, на взморье, опять-таки все втроем: Некрасов, ее

[1] А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем. П. 1917, т. VIII, стр. 272.

муж и она. Там у них гостил Григорович, а потом нагрянул с целой свитой Александр Дюма,—и все любовались прелестной хозяйкой и целовали у нее ручки, и восхищались ее гостеприимством [1].

Некрасов еще полгода назад пробовал убежать от нее. Он убегал от нее много раз и всегда возвращался—влюбленный. В начале того самого 1857 года, когда он послал ей приведенное выше письмо, он, прожив с нею несколько месяцев в Риме, внезапно покинул ее и уехал к своему другу в Париж с тем, чтобы уже не возвращаться. Но, конечно, скоро возвратился и целый месяц не раскаивался в этом:

— «Я очень обрадовал Авдотью Яковлевну, которая, кажется, догадалась, что я имел мысль от нее удрать»,—писал он в откровенном письме.— «Нет, сердцу нельзя и не должно воевать против женщины, с которой столько изжито, особенно когда она, бедная, говорит п а р д о н. Я по-крайней мере не умею и впредь от таких поползновений отказываюсь. И не из чего и не для чего! Что мне делать из себя, куда, кому я нужен? Хорошо и то, что хоть для нее нужен».

Эта женщина, которую он называл самолюбивой и гордой, радовалась ему чрезвычайно. Как-то после недолгой разлуки он вызвал ее к себе в Вену. Она так и полетела к нему, обрадовав его своею радостью. «Я не думал и

[1] Александр Дюма в своих «Impressions de Voyage en Russie» (Paris, 1859) называет Панаеву красавицей, ее мужа—одним из первых журналистов в Петербурге и дает в своем переводе три стихотворения Некрасова. Ср. ее «Воспоминания». Л. 1927, стр. 311—330.

не ожидал,—пишет он,—чтобы кто-нибудь мог мне так обрадоваться, как обрадовал я эту женщину своим появлением. Она теперь поет и попрыгивает как птица, и мне весело видеть на этом лице выражение постоянного довольства, выражение, которого я очень давно на нем не видал». «Мне с ней хорошо, а там как бог даст» [1].

Но нежности хватило не надолго.

Через два-три месяца Некрасов снова начал мечтать о побеге. Ему стало казаться, что он живет с этой женщиной только из жалости, только из благодарности к прошлому, что другой на его месте давно разошелся бы с нею. Впрочем, он и сам не мог понять, равнодушен он к ней или нет, хорошо ему с нею или худо.

Все эти колебания сказались в том замечательном по откровенности письме, которое в октябре 1856 г. он послал из Рима Василию Петровичу Боткину:

«Сказать тебе по секрету—но, чур, по секрету!—я кажется сделал глупость, воротившись к [Авдотье Яковлевне]. Нет, раз погасшая сигара—не вкусна, закуренная снова!.. Сознаваясь в этом, я делаю бессовестную вещь: если б ты видел, как воскресла бедная женщина,—одного этого другому, кажется, было бы достаточно, чтоб быть довольным, но никакие хронические жертвы не в моем характере. Еще и теперь могу (?), впрочем, совестно даже и сказать, чтоб это была жертва,—нет, она мне необходима

---

[1] А. Н. Пыпин. «Н. А. Некрасов». П. 1905, стр. 145 и 162—«Книга и Революция», 19 21, № 2 (14), стр. 64.

столько же, сколько... и не нужна... Вот тебе и выбирай, что хочешь. Блажен, кто забывать умеет, блажен, кто покидать умеет—и назад не оглядывается... Но сердце мое очень оглядчиво, чорт бы его побрал! Да и жаль мне ее, бедную... Ну, будет, не показывай этого никому... Впрочем, я в сию минуту в хандре. Сказать по совести, первое время я был доволен и только думал: кабы я попал с нею сюда ранее годами 5-ю—6-ю,—было бы хорошо, очень хорошо! да эти кабы ни к чему не ведут» [1].

Это одно из самых замечательных писем Некрасова. Некрасов редко бывал откровенен, но если откровенничал, то до конца. С беспримерной отчетливостью отметил он в этом письме все те противоречивые чувства, которые одновременно охватили его: тут и любовь, и равнодушие, и жалость, и скука, и благодарность за прежнее, и чисто-вкусовая неприязнь («раз погашенная сигара—не вкусна, закуренная снова»). Сложный был человек, изнуряемый противочувствиями.

Ничего хорошего эта смесь ощущений не сулила Авдотье Яковлевне, и действительно, через несколько месяцев, вернувшись домой, он чувствует к ней одну только ненависть:

— «Горе, стыд, тьма и безумие»—говорит он в другом откровенном письме.—«Горе, стыд, тьма и безумие—этими словами я еще не совсем полно обозначу мое душевное состояние, а как я его себе устроил? Я вздумал шутить

[1] «Голос Минувшего», 1923, 1, стр. 224.

с огнем и пошутил через меру. Год тому назад было еще ничего—я мог спастись, а теперь...» [1]

Спастись для него означало уйти от этой женщины навеки. Но, конечно, он не спасся, не ушел. И когда, наконец, после пятнадцати мучительных лет, она, полустаруха, покинула его и вышла замуж за секретаря его редакции, Некрасов буквально взвыл от лютой обиды и ревности:

> Один, один!.. А ту, кем полны
> Мои ревнивые мечты,
> Умчали роковые волны
> Пустой и милой суеты,

хотя, конечно, сам же был виновником этой разлуки.

Скрытный и сильный, он никому не показал своего горя: «молчу, скрываю мою ревнивую печаль», но горе было большое: «разбиты все привязанности... все кончено... трудись, пока годишься, и смерти жди, она недалека... усни... умри...»—таков лейтмотив его тоскливой элегии, вызванный уходом этой женщины. Вместе с нею ушло от него все поэтическое очарование жизни:

> Гляжу на жизнь неверующим глазом.
> Все кончено! Седеет голова.

Порою в припадке того ясновидения, которое дается лишь ревнивцам, он отчетливо видел отсутствующую и вдруг загорался к ней страстью,—к женщине, которая за тысячу верст. Этот плешивый, желтолицый и хилый старик,

[1] А. Н. Пыпин. «Н. А. Некрасов». П. 1905, стр. 174, письмо к Тургеневу от 30 июня 1857 г.

как двадцатилетний влюбленный, твердил ей страстные горячие слова, звал ее с собою в Италию, где они когда-то зимою собирали на вилле Боргезе цветы. Ничего, что ей пятый десяток, что она ему чужда и враждебна, он тянется к ней, как к невесте:

Бьется сердце беспокойное,
Отуманились глаза,
Дуновенье страсти знойное
Налетело, как гроза.

Вспоминаю очи ясные
Дальней странницы моей,
Повторяю стансы страстные,
Что сложил когда-то ей.

Я зову ее, желанную:
Улетим с тобою вновь
В ту страну обетованную,
Где венчала нас любовь!

III

Он любил ее угрюмой, ревнивой, изнурительно-трудной любовью. Совместная их жизнь была ад. Но стоило им разлучиться, как он снова влюблялся в нее. Похоже, что он любил ее только тогда, когда ее не было с ним: все те нежные любовные стихи, которые он посвятил ей, написаны в ее отсутствие, заочно. Когда же она с ним,—его стихи отражают не ласки, а буйные семейные сцены, оскорбления, ссоры и ругательства. Вообще его любовная лирика охотнее всего останавливается на любовном истязательстве и тиранстве. «Слезы, нервический хохот, припадок»—это у него чаще всего. «О, слезы женские, с придачей нервических тяжелых драм»,—тут его излюбленная тема [1].

— «Буйство», «буря», «гроза», «бездна», «поругание», «клеймо»—говорит у него кто-то о любви. Одно из первых стихотворений, посвященных им этой женщине, есть стихотворение о ссоре: «Мы с тобой бестолковые люди: что минута, то вспышка готова, облегченье взвол-

---

[1] «Все лирические пьесы Некрасова, посвященные любви, постоянно роковым образом возвращаются к домашним сценам и распрям»,—говорит С. А. Андреевский в «Литературных очерках», П. 1902, стр. 160—161.

нованной груди, неразумное резкое слово»... Вскоре эти вспышки становятся бурями, любовь превращается в сплошное мучительство. Поэт в покаянную минуту зовет себя палачом этой женщины и молит ее о прощении:

Прости! Не помни дней паденья,
Тоски, уныньья, озлобленья,
Не помни бурь, не помни слез,
Не помни ревности угроз!

Она прощала, но бури повторялись опять, и, главное, повторялись падения. Это было тяжелее всего: Некрасов нередко у нее на глазах заводил мимолетные связи, что возмущало даже посторонних людей.

— «Прилично ли»,—писал Чернышевский,— «прилично ли человеку в его лета возбуждать в женщине, которая была ему некогда дорога, чувство ревности шалостями и связишками, приличными какому-нибудь конногвардейцу?» [1]

Нет, это совсем не так легко быть женою знаменитого поэта. Еще раньше, в 1853 году, всего лишь через несколько лет, как она после долгой борьбы стала, наконец, его подругой, он изменил ей и заболел нехорошей болезнью.

Она вынесла и это испытание. Он впал в отчаяние, еще больнее возненавидел себя и все свои страдания вымещал, конечно, на ней, на подруге:

«Тяжелый крест достался ей на долю: страдай, молчи, притворствуй и не плачь. Кому и страсть, и молодость, и волю все отдала, тот

[1] «Современный Мир», 1911, 11, стр. 198.

стал ее палач»,—восхищался он сам ее подвигом, но отказаться от палачества не мог.

Это действительно была для нее крестная мука—любить больного и крутого ипохондрика, и многое простится ей за то, что она в течение пятнадцати лет безропотно несла этот крест. Она не кинула Некрасова в годы болезни, когда ему «в день двадцать раз приходил на ум пистолет», когда, например, он боялся остаться на пароходе один, чтобы не кинуться в воду,—она была его покорной сиделкой. «Давно она ни с кем не знает встречи,—писал в эту пору Некрасов,—угнетена, пуглива и грустна; безумные, язвительные речи безропотно выслушивать должна»,—и как же нам не пожалеть ее за это? Чернышевский именно тогда и поцеловал ее руку, когда «безумные речи» Некрасова уязвили ее при чужих.

Вдова Чернышевского, Ольга Сократовна, и через 50 лет вспоминала:

— «Единственно, чем бывал (Чернышевский) недоволен, так это некоторыми сторонами в отношениях Некрасова к Авдотье Яковлевне» [1].

Он обижал ее даже при детях. Одна тогдашняя девочка 14—15 лет вспоминает, как после его желчного окрика «она вся вспыхнула, и в голосе ее послышались слезы. Мы все притихли, опустили глаза, нам стало неловко».

— «Я замечала,—рассказывает та же свидетельница,—что отношения Некрасова к Авдотье Яковлевне доставляли последней много огорчений, и нередко она возвращалась с половины

---

[1] «Жизнь для Всех», 1915, 1, стр. 6.

Некрасова с заплаканными глазами». «Николай Алексеевич опять обидел Авдотью Яковлевну» — говорил тогда младший Добролюбов. [1]

— «Ей теперь не до нас с Ваничкою»,—писал Добролюбов дяде в августе 1860 г. [2]

«... В хандре он злился на меня...»,—вспоминает она сама в мемуарах...—«Если бы кто-нибудь видел, как он по двое суток лежал у себя в кабинете в страшной хандре, твердя в нервном раздражении, что ему все опротивело в жизни, а главное, он сам себе противен»... И на следующей странице опять: «Он находился в хандре... лежал целый день на диване, почти ничего не ел»...

И снова через несколько страниц:

— «Некрасов... страшно хандрил»...

И в другом месте опять:

— «Настроение духа Некрасова было самое убийственное, и раздражение нервов достигло высшей степени»...

Но она умалчивает, что это раздражение нервов обрушивалось раньше всего на нее. В такие дни он упрекал ее за все, даже за ее красоту. Она ломала руки и молчала—«и что сказать могла б ему она?»—но иногда не выдерживала и истерически проклинала его. В одну из таких буйных минут он зарисовал ее, явно любуясь:

---

[1] «Научное Обозрение», 1903, 4.

[2] Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, II. 1890, стр. 587.

Упали волосы до плеч,
Уста горят, румянцем рдеют щеки.
И необузданная речь
Сливается в ужасные упреки.
Жестокие, неправые...

Такова была их семейная жизнь. Но кто осудит за это Некрасова? Он терзал, потому что терзался. И главное его терзание—ревность. «Не говори, что молодость сгубила, ты ревностью истерзана моей». Ревновать он умел, как никто. «Ревнивое слово», «ревнивые мечты», «ревнивая боязнь», «ревнивая печаль», «ревнивая тревога», «ревнивая мука», «ревнивая злоба»—это у него постоянно. И сколько в его книге ревнивцев:

— Я полюбил, дикарь *ревнивый* ..

— Стою, *ревниво* закипаю...

— Прости, я *ревнивец* большой...

— Он не был злобен и коварен, но был мучительно *ревнив*...

— А жену тиранил, *ревновал* без меры...

— Кто ночи трудные проводит, один *ревнивый* и больной?..

— Но подстерег супруг *ревнивый*...

Тут его навязчивое чувство: «молчу, а дума лютая покоя не дает». Изо всех пыток любви он облюбовал себе самую мрачную и уныло предавался ей, благо это давало ему новое право ненавидеть себя, без чего он, кажется, не мог. Он был словно создан для ревности: замкнутый, угрюмый и таящийся.

Все, что есть в любви весеннего и праздничного, озаряло его лишь мгновениями, лишь для того, чтобы потом стала еще отягчительнее

унылая работа его ревности. Это было его вечное занятие: он изливал свою ревность в стихах и в 1847 году, и в 1856 году, и в 1874 году. Он стыдился своей ревности, он звал ее «грустным недугом», но хуже всего то, что это был недуг неизлечимый. Он называл ее «постыдным порывом» и конечно, каялся перед оскорбляемой женщиной и просил у нее за ревность прощения,—каяться он тоже умел, как никто,—но покаявшись, принимался за прежнее. Иначе любить не умел. Любовь без ревности для него не любовь:

Пока еще кипят во мне мятежно
Ревнивые тревоги и мечты —
Не торопи развязки неизбежной!

А между тем это была весна их любви, первое ее весеннее цветение. Но он не верил, что это весна, и весну он чувствовал как осень. Любовь только-что родилась, а уж он отпевает ее:

Кипим сильней, последней жаждой полны,
Но в сердце тайный холод и тоска...
Так осенью бурливее река,
Но холодней бушующие волны.

Самая бурливость их страсти кажется ему подозрительной: не предвещает ли эта бурливость—конца? Чем бурливее, тем холоднее. Их роман едва лишь начался, впереди у них не меньше пятнадцати лет, а он уже предчувствует конец:

Не торопи развязки неизбежной!
И без того она не далека.

И это первая любовная песнь, посвящаемая поэтом подруге, первая серенада, которую спел он возлюбленной! Если перевести эту серенаду на прозаический язык, то окажется: «Я еще ревную тебя,—значит, люблю. Но я люблю тебя все меньше и скоро совсем разлюблю. Ты тоже почти не любишь меня и, ускоряя развязку, издеваешься над нашей уходящей любовью. Но издеваться не надо, отложим иронию, и без того наша любовь скоро угаснет».

И это пишется в первые месяцы, о которых всю жизнь до старости он будет вспоминать с умилением! Вообще, когда вникаешь в историю этой любви, то уже не видишь ни эффектной брюнетки, ни знаменитого, любимого всей Россией поэта, а просто двух замученных друг другом людей, которых жалко.

IV

А тут еще Панаев, ее муж. Он хоть и пустопляс, но нельзя не пожалеть и пустопляса. Ему выпала трудная роль: жить при собственной жене холостяком. Официально он считался ее мужем, но и прислуга и посторонние знали, что муж его жены—Некрасов.

Они жили все втроем в одной квартире, это лишь усугубляло насмешки. Писемский, не любивший Панаева, хотя тот оказал ему немало услуг, глумился над ним даже в печати:

— «Интересно знать, — писал Писемский в своей «Библиотеке для Чтения»,—не опишет ли он [Панаев] тот краеугольный камень, на котором основалась его замечательная в высшей степени дружба с г. Некрасовым?» [1]

Только божественное легкомыслие Панаева помогло ему в течение стольких лет играть эту невыносимую роль, которой и часу не вынесли бы более глубокие души. Его спасла его святая пустота, про которую еще Белинский говаривал, что она «неизмерима никакими инструментами»[2].

---

[1] «Библиотека для Чтения», 1861, дек.,—«Искра», 1862, янв., и след.—А. Н. Пыпин. «Н. А. Некрасов», 1905, стр. 199. Впоследствии Писемский уничтожил эти строки. В собрании его сочинений их нет.

[2] В. Г. Белинский. Письма. П. 1914, т. III, стр. 192.

Конечно, во всем виноват он один: мот, вертопрах, свистун,—куда же ему быть семьянином! Он женился на chére Eudoxie, когда ей не было еще девятнадцати, едва ли не затем, чтобы щеголять красивой женой перед приятелями и гулять с нею на музыке в Павловске. Целый сезон он был счастлив, съездил с нею, конечно, в Париж, побывал в казанском имении, покружился в Москве, почитал ей Вальтер Скотта и Купера и вскоре упорхнул папильоном за новой головокружительной юбкой. Упрекать его за это нельзя: таково было его естество. Для подробной истории этого брака у нас нет почти никаких материалов: две-три строки в переписке Белинского, десять строк в переписке Грановского,—все беглые штрихи и намеки, но нигде из этих мимолетных штрихов не видно, чтобы хоть в чем-нибудь была виновата она.

Напротив, каждая строчка лишь о том и свидетельствует, что муж словно нарочно стремился толкнуть ее в чужие объятия. Не прошло и двух лет после их свадьбы, а Белинский уже сообщает в письме:

— «С ним [Панаевым] была история в маскараде. Он врюхался в маску, завел с нею переписку... получил от нее письмо и боялся, чтоб Авдотья Яковлевна не увидела [1].

Маски, модные кокотки, гризетки, француженки были его специальностью. Он вечно возил к ним приятелей, ибо был услужлив и добр: даже Грановского свез к знаменитой Пешель [2],

[1] Ibid. т. II, стр. 293.

[2] Т. Н. Грановский и его переписка, М. 1897, стр. 278.

а впоследствии самого Добролюбова сводил с маскарадными девами. Ему нравилось угощать своих приятелей женщинами, и он изо всех сил хлопотал, чтобы женщины пришлись им по вкусу:

— «Я тебя познакомлю с двумя блондинками; надеюсь, что ты будешь доволен»,—писал он Василию Боткину.

Положительно он чувствовал себя чем-то вроде благодетельной сводни:

— «Эту вдову я тебе приготовлю, когда у тебя почувствуется потребность»,—писал он тому же приятелю.[1]

Григорович и через полвека вспоминает, как Панаев ухаживал за какой-то важной кокоткой и жаждал добиться взаимности [2]. С омерзением изображает Аполлон Григорьев в одном письме распутные отношения «Ваньки Панаева» к какой-то похабной Мине [3].

А двадцатилетняя красавица-жена была оставлена без всякой защиты. Грановский, присмотревшись к ее жизни, был поражен именно ее беззащитностью:

— «Если бы ты знала, как с нею обходятся!»—писал он из Петербурга жене.—«Некому защитить ее против самого нахального, обидного волокитства со стороны приятелей дома»[4].

---

1 «Голос Минувшего», 1923, 3, стр. 76—77.

2 Д. В. Григорович. Полное собрание сочинений. П. 1896, т. XII, стр. 30.

3 Аполлон Александрович Григорьев. Материалы для биографии. П. 1917, стр. 202.

4 Т. Н. Грановский и его переписка. М. 1897, стр. 284.

К душевным влечениям жены он не выказывал никакого внимания. У нее, например, только-что скончалась сестра, ей хочется остаться при детях покойницы, а он тянет ее насильно в Москву.

— «Не знаю, достанет ли у него духу везти ее против воли... — возмущался им Белинский в письме к Боткину. — Ему хочется во что бы то ни стало поразить Павлова и Шевырева своими штанами, которых нашил для этого целую дюжину». «И для штанов дети Краевского должны быть без присмотра. Славные штаны их шил сам Оливье!..» «[Он] будет поражать московских литераторов своими штанами, рассказывать им старые анекдоты о Булгарине и вообще удовлетворять своей бабьей страсти к сплетням литературным, а жену оставлять с тобой и Языковым, что не совсем ловко» [1].

Словом, нужно не тому удивляться, что она в конце концов сошлась с Некрасовым, а тому, что она так долго с ним не сходилась. Они познакомились в 1843 году. Панаев в это время отбился от нее окончательно и почти ежедневно, пьяный, возвращался домой на рассвете.

— «Это лето я вел жизнь гнусную и пил с гусарами»,—писал он сам своим московским приятелям. Он был не то, чтобы пьяница, но любил «пройтись по хересам», «пить клико и запивать коньяком» [2].

---

[1] Белинский. Письма. П. 1914, т. II, стр. 300.

[2] «Русская Мысль», 1892, 7, «Из переписки недавних деятелей».—А. И. Герцен «Полное собрание сочинений и писем», 1915, т. IV, стр. 190.

Некрасову было двадцать два года, когда он познакомился с нею. Ей было двадцать четыре. Вчерашний пролетарий, литературный бродяга, конечно, он вначале не смел и мечтать о благосклонности такой блистательной дамы. Странен был среди бар гегельянцев этот петербургский плебей. Какое ему было дело до их Вердеров, Михелетов, Розенкранцеров, до их «самоищущего духа» и «конкресцирования абстрактных идей»! Сперва они думали, что он просто делец, альманашник, небездарный литературный ремесленник, но понемногу ощутили в нем большую поэтическую силу и приняли его как своего. Тогда-то он и влюбился в нее.

Но она не сразу уступила его домоганиям, а до странности долго упорствовала [1]. Очевидно, было в его любви что-то сомнительное, не внушавшее доверия, подозрительное, раз она, по его собственным словам, жаждала верить в нее и не могла. Вначале она решительно отвергла его. Он с отчаяния чуть было не кинулся в Волгу, но не такой был человек, чтобы отстать. Ее упрямство только разжигало его.— «Как долго ты была сурова, как ты хотела верить мне и как и верила, и колебалась снова»,— вспоминал он в позднейшем письме. Нелегко досталась ему эта женщина. Впоследствии он любил вспоминать «и первое движение страсти, так бурно взволновавшей кровь, и долгую борьбу с самим собою и неубитую борьбою, но с ка-

[1] «Не решалась бросить мужа»,—по словам Чернышевского. См. «Чернышевский в Сибири», П. 1913, т. III, стр. 60.

ждым днем сильней кипевшую любовь». Этот любовный поединок продолжался с 1843-го года по 1848-ой. В 1848 году она, окончательно пренебреженная мужем, стала, наконец, женой Некрасова [1], и день, когда это случилось, долго был для него праздником праздников:

Счастливый день! Его я отличаю
В семье обыкновенных дней;
С него я жизнь мою считаю,
Я праздную его в душе моей!

Их союз был тружениченский. Медовые месяцы протекали в хлопотливой работе. Ведь именно в 48, 49 годах Некрасов с нечеловеческой энергией строил свой журнал «Современник». Мы, кажется, до сих пор не постигли, какой это был трудный подвиг. Если бы Некрасов не написал ни строки, а только создал журнал «Современник», он и тогда был бы достоин монументов. Конечно, он втянул в свою работу и ее и даже улучил каким-то фантастическим образом время, чтобы написать совместно с нею огромный, забронированный от свирепой цензуры роман. Во время писания этого романа она забеременела и писала его до самых родов— девять месяцев. Оба они хотели ребенка, и можно себе представить, как дружно, влюбленно и радостно писали они этот роман. Едва ли когда-нибудь в позднейшую пору их любовь была так нежна и крепка. Но роды оказались неудачными. Новорожденный мальчик умер,

[1] В 1856 г. Некрасов писал Тургеневу, что он лет семь «влюблен и счастлив». См. книгу А. Н. Пыпина. «Некрасов», П. 1905, стр. 145.

едва появившись на свет [1]. Авдотья Яковлевна как бы закоченела в тоске; она не могла даже плакать. Некрасов оставил нам несколько строк, изображающих ее материнскую скорбь:

Как будто смерть сковала ей уста!
Лицо без мысли, полное смятенья,
Сухие напряженные глаза—
И, кажется, зарею обновленья
В них никогда не заблестит слеза.

Его тоже огорчила эта смерть: «поражена потерей невозвратной душа моя уныла и слаба».

Но горе матери было сильнее. Авдотья Яковлевна никогда не могла позабыть это горе; бездетность всю жизнь тяготила ее. Это был второй ребенок, которого она потеряла. Первый родился лет за восемь—дочь от Панаева, которая тоже скончалась младенцем [2].

После смерти сына она тяжело заболела и уехала по совету врачей за границу. Любовь Некрасова во время разлуки,—как это бывало всегда,—разгорелась. Он писал ей длинные любовные послания в стихах, где с восхитительным деспотизмом ревнивца требовал, чтобы она тосковала по нем и не смела бы в разлуке веселиться:

-- «Грустишь ли ты?—допытывался он.—Ты также ли печали предана?»

И прямо говорил в конце письма, что, хоть он желает ей счастья, но ему легче, когда он

---

[1] Стихотворения Н. А. Некрасова. П. 1879, т. IV, стр. XXIII.

[2] Полное собрание сочинений Ив. Ив. Панаева. М. 1889, т. VI, стр. 87.

подумает, что без него она тоскует и страдает. Однажды она ответила ему притворно-холодным письмом, и это довело его до отчаяния:

— «Я жалок был в отчаяньи суровом».

И как блаженствовал, когда оказалось, что то был ее «случайный каприз», что она любит его попрежнему.

— «Всему конец! своим единым словом душе моей ты возвратила вновь и прежний мир, и прежнюю любовь».

Это было, примерно, в 1850 г. Вскоре она вернулась домой. Они написали вместе еще один объемистый роман — и прожили, постоянно расходясь и сходясь, десять-одиннадцать лет. Не все вначале одобряли их связь. Ведь Панаев был дэнди, а Некрасов темный проходимец—таково было мнение света. Какой-то канцелярский карьерист выражается в своих мемуарах так: «непостижимо, отвратительно было видеть предпочтение джентльмену Панаеву такого человека, как Некрасов, тем более, что, по общему мнению, он не отличался и в нравственном отношении. Что касается до его таланта, то во всяком случае он не был же такой громадной величины, чтобы одною своею силою совратить с доброго пути порядочную женщину».—«Наружность [Панаева] была весьма красивая и симпатичная, тогда как Некрасов имел вид истинного бродяги» [1].

Грановский, который наблюдал Авдотью Яковлевну в первые годы ее сближения с Некрасо-

---

[1] «Записки Вас. Ант. Инсарского». «Русская Старина», 1895, I, стр. 112—113.

вым, тоже не нашел тут хорошего, хотя, конечно, по другим причинам. Он не упрекает ее но неизменно жалеет.

— «Жаль этой бедной женщины»... «Она страшно переменилась не в свою пользу»... «Видно, что над нею тяготеет грубое влияние необразованного, пошлого сердцем челевека».

Грановский считал Некрасова «неприятным и отталкивающим», хотя и даровитым человеком. Атмосфера, которую Некрасов создал для нее, казалась Грановскому растлевающей.

— «Сегодня был у Авдотьи Яковлевны»,— читаем в одном из писем Грановского.—«Жаль бедной женщины. Сколько в ней хорошего. А мир, ее окружающий, в состоянии задавить кого хочешь. Не будьте же строги к людям, дети мои. Все мы жертвы обстоятельств».

Через несколько месяцев снова:

— «Как жаль ее. Она похудела, подурнела и очень грустна».

V.

А Некрасов между тем расширялся и креп. Он почувствовал себя полным хозяином всего, что его окружало. К середине пятидесятых годов, к тридцатипятилетнему возрасту, он стал влиятельной персоной в Петербурге,—член аристократического Английского клуба, издатель демократического, лучшего в России, журнала, любимый радикальной молодежью поэт, друг высоких сановных особ. У него повара, егеря и лакеи, он устраивает себе «грандиозные охотничьи предприятия», он ведет крупнейшую игру, выигрывает и проигрывает тысячи, а Панаев стушевался и съежился, куда же ему, свистуну, соперничать с таким кряжистым и напористым другом! Еще так недавно Некрасов занимал в его квартире одну комнату, а теперь он сам занимает одну комнату в квартире Некрасова, и его карета стала каретой Некрасова, и его жена стала женой Некрасова, и его журнал стал журналом Некрасова: как-то само собой вышло, что купленный им «Современник» вскоре ускользнул из его рук и стал собственностью одного лишь Некрасова, а он из редактора превратился в простого сотрудника, получающего гонорар за статейки, хотя на обложке журнала значился попрежнему редактором. Легко ли было

бедняге смотреть, как в его журнале Некрасов печатает любовные стихи к его жене. В хозяйственном и деловом отношении его жена оказалась для Некрасова кладом. Она читала рукописи, сверяла корректуры, прикармливала нужных сотрудников. Некрасов давал обеды—самые разнообразные для самых разнообразных людей: цензорам и генералам—одни, картежникам-сановникам—другие, сотрудникам нигилистам—особенные, сотрудникам эстетам—особенные, для каждого обеда требовалось другое меню, другие манеры, другая сервировка, другой стиль. Все это она постигла до тонкости. С семинаристами—демократически проста, с генералами—великосветская барыня. Недаром вышла из актерской семьи: артистически играла все роли. С Чернышевским держалась так, с Фетом совсем иначе [1]. Тут не было притворства и лукавства—это у нее выходило естественно, само собой, от души. Она стала чем-то вроде хозяйки гостиницы: вечно на людях, в суете, в толчее, полон дом гостей, с утра до вечера,—этому улыбнись, этого накорми, этого устрой на ночлег,—тут она нашла свое призвание, тут в ней обнаружилась бездна талантов бойкости, такта, лоска. А Панаев и тут посторонний. Муж без жены, редактор без журнала, он ожесточился и впал в меланхолию, но обвинять Некрасова в своих бедах не мог.—«Я сам был своим злейшим вра-

---

[1] М. А. Антонович. «Журнал для Всех», 1903, II.—П. М. Ковалевский. «Стихи и воспоминания» П. 1912, стр. 278—279.—«Современный Мир», 1911, 10, стр. 148 и много других.

гом»,—говорил он в иные минуты.—«Я сам испортил свою жизнь». И, правда, во всех своих бедствиях был виноват он один, он всю жизнь словно нарочно стремился к тому, чтобы возможно скорее стать физическим и духовным банкротом. Не будь Некрасова, он все равно потерял бы и карету, и квартиру, и жену, и литературный авторитет, и журнал. Некрасов, если всмотреться внимательно, был его опекуном и охранителем; взяв его дела в свои руки, он отсрочивал его банкротство с году на год.

— «Он таскает из кассы на свои легкомысленные удовольствия... я держу его в руках... я смотрю за ним строго... он—легкомысленный ветренник, любит сорить деньги»...—говорил Некрасов Чернышевскому в 1853 году, в первый же день открывая незнакомому молодому человеку, что Панаев не редактор «Современника» [1]. Да и можно ли было хотя на один миг доверять «Современник» Панаеву! Тот сейчас же, ради угождения своим приятелям, набьет его «всякой дрянью, сочиненной приятелями, да еще раздаст им бесплатно дорого стоющие книги журнала».

— «Напишу Панаеву, что не один я бешусь, зачем он пачкает «Современник» стишонками Гербеля и Грекова, за что я написал ему ругательство»,—гневался в Риме Некрасов [2].

В контору «Современника» Некрасов прямо писал, чтобы Панаева и близко не допускали к деньгам.

---

[1] «Современный Мир», 1911, 11, стр. 144—145.
[2] А. Н. Пыпин. «Н. А. Некрасов». П. 1905, стр. 150.

— «Не доверяй денег Ивану Ивановичу и пресеки ему пути к получению их»,—приказывал он из Рима заведывавшему конторой «Современника».—Это для него же лучше... Еще не самое важное, что пропадут деньги, но, если ты будешь плошать, то жди впереди путаницы, беспорядка и постыдной огласки для «Современника» [1].

И напрасно в иных мемуарах твердят, будто Некрасов какими-то кознями вытеснил Панаева из «Современника» [2]. Разве «Современник» был панаевским? Разве его не создал Некрасов? Правда, Панаев дал на его издание деньги, но в первые же годы издательства эти деньги вернулись к нему, а кроме того Некрасов внес некоторый капитал и от себя: пятью тысячами ссудила его Наталья Александровна Герцен, какието деньги дал Боткин и проч.

Некрасов был ни в чем не виноват, но Панаеву от этого было не легче. Посмотрите на его портрет того времени: постаревший забулдыга, истаскавшийся фат в парике, сорокапятилетний свистун, как он уныл и трагичен [3].

---

[1] «Некрасовский сборник». П. 1918, стр. 45.

[2] Например, в книжке Н. В. Успенского «Из прошлого». М. 1889, стр. 32.

[3] Он начал лысеть еще в 1840 г. Белинский писал тогда лысому Боткину:—«кстати о лысине—возрадуйся: Панаев скоро будет тебе братом». (В. Белинский. Письма. П. 1914, стр. 40). Откуда же в 1860-м году взялась у него та шевелюра, которая изображена на его предсмертном портрете? (О его парике см. «Научное Обозрение», 1903, IV. «Воспоминания о Некрасове»).

Стршно ему было оглянуться на свою угарную жизнь, которую он зря просвистал. А тут как нарочно нагрянули шестидесятые годы, явились новые, очень строгие люди, требовательные к себе и другим, и, хотя он, в соответствии с модой, перекрасился мгновенно в нигилисты (мимикрия для слабых—спасение), но тем ужаснее предстало перед ним его прошлое, когда он взглянул на него глазами своих новых кумиров. «Добрейший этот человек, мягкий как воск, когда-то веселый, беспечный, теперь постоянно находился в мрачном, раздраженном до болезненности состоянии духа»,—вспоминает его двойник Григорович [1]. Ему, как и многим безвольным, стало казаться, что, стоит ему только уехать, и он сделается другой человек. Только подальше от Некрасова, от сплетен, забиться в деревенские снега, и начать новую жизнь. И снова через столько лет он льнет к жене, и зовет ее, конечно, с собою:

— Если бы ты также согласилась жить в деревне, я был бы совершенно счастлив... ты бы тоже отдохнула... ведь и тебе тяжело жить здесь... [2]

Еще бы не тяжело! Она обещала ему все, что угодно, и он, как водится, младенчески залепетал, какую он напишет в деревне необыкновенную, великолепную повесть, и просил у жены прощения, и обещал, что исправится, и

---

[1] Собрание сочинений Д. В. Григоровича П., 1896, т. XII, стр. 336.

[2] Авдотья Панаева. «Воспоминания». Л. 1927, стр. 416—420.

через две-три недели скончался от разрыва сердца, говоря:

— Прости меня... Я во мно...

Она лишилась чувств, а Некрасов поместил в «Современнике» прочувствованную статью о покойнике. В сущности покойник был не плохой человек.—Ведь я человек со вздохом!—нередко говорил он в свое оправдание, ударяя себя с полукомическим выражением в грудь туго накрахмаленной сорочки, и «уже одно то,—говорит Фет,—что он нашел это выражение, доказывает справедливость последнего».[1] Он, действительно, был человек со вздохом. «В нем есть что-то доброе и хорошее, за что я не могу не любить его»,—писал о нем Белинский,—«не говоря уже о том, что я связан с ним и давним знакомством и привычкою, и что он, по своему, очень любит меня. Но что это за бедный, за пустой человек, — жаль даже».[2]

Наконец Авдотья Яковлевна вдова, свободная женщина. Но поэт не торопится жениться на ней. «Ему бы следовало жениться на Авдотье Яковлевне»,—говорил через 25 лет Чернышевский,—«так ведь и то надо было сказать, невозможная она была женщина».[3]

Почему невозможная, нам неизвестно. Некрасов не только не женился на ней, но скоро

---

[1] А. А. Фет. «Мои воспоминания». М. 1890 ч. I, стр. 394.

[2] Белинский. «Письма». П. 1914, т. III, стр. 192.

[3] Л. Ф. Пантелеев. «Из воспоминаний прошлого». П. 1908. Книга вторая, стр. 195.

отошел от нее совершенно, продпочитая любить и ревновать ее издали. Эта развязка подготовлялась издавна. Еще в конце пятидесятых годов Некрасов начал тяготиться своей связью и не то, чтобы порвал с Авдотьей Яковлевной, но—уже не скучал без нее. Их разлуки становились все дольше и чаще. Потом она осталась одна за границей—в двусмысленном и невозможном положении: не то любимая, не то отвергнутая женщина, как будто и жена, а как будто и нет. Для нее это было страшное время. Она не была создана для бессемейной и бездомной свободы. По существу она была женщина-мать; ей было нужно гнездо. Как потерянная, переезжала она из города в город, ища хоть мимолетных утешений. Все ее тогдашние письма—одна непрерывная жалоба. Если бы у нее были дети, ей было бы легче переносить это надвигающееся на нее сиротство. Она была из тех женщин, для которых бездетная жизнь—бессмыслица. Покуда возле нее был Некрасов, она заглушала в себе тоску по ребенку, но чуть Некрасов отдалялся от нее, эта тоска возрастала. Одному из своих петербургских друзей она писала в то время из Рима:

«Я потому говорю, что жизнь не может мне более принести радостей, что у меня нет детей. Потеря моего сына меня слегка свихнула с ума, кажется, никто этому не хотел верить... Я считаю себя умершей для жизни и горюю о своем одиночестве... Вы теперь отец и поймете всю бесконечную мою тоску одиночества...»

Теперь, когда ее покинул Некрасов, этот ужас одиночества, ужас бездетности, охватил ее с но-

вою силою. Не было бы ничего удивительного, если бы она, чтобы забыть о своем сиротстве, кинулась в самую беспутную жизнь, стала кутить, швырять деньги, заводить веселые знакомства. Ей было тридцать семь, тридцать восемь лет, но она все еще была красивая женщина и, когда хотела, привлекала мужчин. Без дома, без ребенка, без мужа—что же ей было делать с собою?

Кажется, она действительно испробовала тогда эту веселую жизнь. По крайней мере ее тогдашние письма являют собою странную смесь отчаяния, презрения к себе и безумной жажды развлечений. Словно она веселилась кому-то на зло, словно она мстила кому-то своим невеселым весельем...

Впрочем, как и следовало ожидать, эта жизнь оказалась не по ней:

«В Венеции» — пишет она,—«я могла бы развлечься, даже забыть о моих зрелых годах, потому что имела много доказательств, что их не хотят замечать. Но что же я делаю? Сижу одна вот уже три месяца и все обдумываю, способна ли я удовольствоваться одним удовлетворением женского самолюбия, то-есть окружить себя толпою «молодых людей», выслушивать их комплименты, объяснения, кокетничать. Иногда мне кажется, что я способна, но потом мне сделается все так противно, пошло, что я сама себе делаюсь мерзка. Нет, я погибла безвозвратно!..»

От этой дикой и безалаберной жизни ее попрежнему тянет к самому захолустному семейному счастью.

«Ищу того, что уже для меня невозможно. Я хочу жизни тихой, после всего, что было со мной. Просто, я помешанная!»

Из Венеции она уехала в Париж, но и там не нашла утешения:

«Вообще я трачу много, хочу развлекаться, но умираю от тоски. Все ноет во мне. Доктор мне попался хороший, он сказал мне, что ничто мне не поможет, кроме перемены образа жизни и спокойствия духа, а как этого ни одна аптека не может отпустить по рецепту его, то всякое лечение пустяки для меня.

«Сижу по вечерам дома, как и в Петербурге, и также часто хнычу...

«Где Некрасов? Я до сих пор не получала от него письма...

«Осень усилит мою тоску, вечера будут длинные, а холод в комнатах разовьет мои боли в полном блеске...

«Впрочем, я потеряла голову!.. На-днях в Лондоне случилось несчастье на железной дороге, много погибло. Ведь есть же счастье людям! Разумеется, быть калекой упаси, господи, в моем положении, но сколько же погибло в одно мгновенье. В мои лета глупо это говорить. Но я два— нет, три месяца как ни с кем от души слова не сказала. Прощайте, целую вас крепко и прошу разорвать мое письмо. А если кто спросит обо мне, то скрыть мою глупую жизнь. Право, мне стыдно за себя...».

А в конце письма—снова о влечении к ребенку, если не к своему, то хотя бы к чужому. Она рассказывает, как жадно засмотрелась она в саду Тюльери на какую-то играющую девочку,

которая напомнила ей другую девочку, любимую ею. Нянька забеспокоилась: отчего эта незнакомая дама так странно глядит на ребенка? Но она объяснила, в чем дело, и нянька милостиво позволила ей поцеловать эту чужую девочку. [1]

Куда же в самом деле ей было девать свою неистраченную материнскую нежность?

Вернувшись к Некрасову, она прожила с ним еще несколько лет, но вскоре ушла от него окончательно и вышла замуж за Головачева, Аполлона Филипповича, веселого и разбитного человека, наклонного к безделью, мотовству и легким семейным изменам.

А у Некрасова, на бывшей квартире Панаевых появилась дорогая француженка, mademoiselle Селина Лефрен, бывшая артистка Михайловского театра.

— Дома Авдотья Яковлевна?—спросила осенью 1863 года одна девушка, позвонив у дверей недавнего ее бель-этажа.

— Она здесь больше не живет!—нагло ответил лакей.

Связь с мадемуазелью продолжалась недолго. Мадемуазель была солидна и расчетлива: «проживу столько-то лет, наживу столько-то денег,— и в Париж!» такова была ее программа. Замечательно, что в самом начале, когда Некрасов только увлекся ею, и «принялся за французский букварь», Авдотья Яковлевна, как бы покровитель-

---

[1] Приводимые здесь цитаты заимствованы из ненапечатанных писем А. Я. Панаевой к Ипол. Ал. Паневу (от 5 дек. 1856 г., 5 и 30 авг. 1857 года), хранящихся в Пушкинском Доме.

ствуя его увлечению, сама покупала ему всевозможные французские учебники, помогая ему усвоить язык, на котором он будет объясняться с другою. [1]

[1] «Вестник Литературы». 1920, 2 (14), стр. 4—6. —«Научное Обозрение». 1903, 4.

VI

А что же ее преступление? Неужели и вправду она совершила его? Теперь это, кажется, уже не вызывает сомнений, ибо ее осудил беспощадным судом такой почти авторитетный исследователь, как Мих. Лемке. Обвиняя ее в этой уголовной афере, Лемке привел, как мы видели, убийственный для нее документ: письмо самого Некрасова, где обвинение высказано с неотразимой и ошеломляющей ясностью.

Документ огромного значения, но все же, вчитываясь в него, не забудем, что он относится к той самой женщине, о которой в старости, гораздо позднее, через 10—12 лет, Некрасов сказал с благодарностью:

Все, чем мы в жизни дорожили,
Что было лучшего у нас—
Мы на один алтарь сложили,
И этот пламень не угас!

Мог ли он так отзываться об опозорившей его вульгарной аферистке? Стал ли бы он говорить о пламени, о жертвеннике-алтаре, куда они оба сложили все самое святое, если бы он действительно думал о ней то, что у него написалось в опубликованном у Лемке письме? Разве он сошелся бы с нею через несколько месяцев, разве зажил бы с нею попрежнему, если бы

сам хоть отчасти верил в те необдуманные и жестокие слова, которые вырвались у него в этом письме? Не ясно ли, что все это письмо есть один из эпизодов их романа, одна из их супружеских ссор, которых у них было множество и которые не только не мешали их дружбе, но, напротив, по признанию Некрасова, даже укрепляли ее:

После ссоры так полно, так нежно
Возвращенье любви и участья...

Мы видели, что чуть не все их сожительство проходило в таком чередовании примирений и ссор, и мало ли чего в течение этих пятнадцати лет ни наговорили друг другу в запальчивости эти сварливо-влюбленные люди, мало ли каких безумных упреков ни швыряли они друг другу в лицо,—особенно он, постоянно больной ипохондрик!

Разве вправе исследователь без всякой проверки, как некую объективную истину, заносить на скрижали истории эти упреки и жалобы? Да и откуда мы знаем, что отвечала она на гневные нападки Некрасова! Может быть, по обычаю супружеских ссор, она тогда же написала ему: «нет, это ты, ты, ты виноват во всем, ты втянул меня в это темное дело, ты погубил мою жизнь». Неужели от такого письма, если бы его нашел Мих. Лемке, зависела бы вся репутация Некрасова? А она высказывала ему такие упреки не раз; не дальше, как в том же году он записал в одном стихотворении, что ее «необузданная речь сливается в ужасные упреки, жестокие, неправые». В чем эти упреки заключались, видно из его оправданий:

Постой!
Не я обрек твои младые годы
На жизнь без счастья и свободы,
Я друг, я не губитель твой!
Но ты не слушаешь...

Упреки исходили от обеих сторон, и покуда мы не выслушали другой стороны, какая нашему приговору цена?

Вообще, Мих. Лемке напрасно с таким простодушием полагается без всякой проверки на обнародованный им документ.

Для нас, например, многое в этом документе сомнительно.

Почему Некрасов уверяет Панаеву, будто он, спасая ее честь, принял всю ее вину на себя, будто он до могилы не выдаст ее, будто ее честь ему дороже своей,—ежели нам достоверно известно из обнародованных уже документов, что он не только ее чести не спасал, не только не взваливал ее греха на себя, но всюду, кому только мог, повторял, что во всем виновата она, а он здесь не при чем.

Это — документально доказанный факт, и покуда никто не опровергнет его, все восторги Мих. Лемке перед рыцарским отношением Некрасова к женщине будут казаться насмешкой.

Ведь именно это взваливание вины на Панаеву больше всего покоробило Герцена. Из мемуаров Л. П. Шелгуновой мы знаем, что Герцен, рассказывая это дело до малейших подробностей, «возмущался всего более тем, что Некрасов всю свою вину сваливал на женщину». [1]

---

[1] Л. П. Шелгунова. «Из далекого прошлого.» П. 1901, стр. 91.

Мих. Лемке почему-то умалчивает об этих показаниях Шелгуновой. Может быть он им не доверяет? Но у нас есть подлинное письмо самого Герцена, подтверждающее эти показания. 20-го июня того же пятьдесят седьмого года Герцен сообщает Тургеневу:

— «Некрасов ко мне писал. Письмо гадкое, как он сам... Вот тебе совершенно заслуженная награда за дружбу с негодяями. Итак, первое дело он взвалил на Панаеву, второе—на тебя». [1]

В письме так и сказано: «взвалил на Панаеву».

Но, может быть, Герцену только показалось, а на самом деле Некрасов защищал и выгораживал свою подругу? Нет, у нас есть подлинное письмо Некрасова, писанное в то же время к Тургеневу,—кажется, в надежде, что оно будет сообщено Огареву и Герцену. В этом письме говорится:

— «Если вина моя в том, что я не употребил [на Панаеву в этом деле] моего влияния, то прежде надо бы знать, имел ли я его—особенно тогда, когда это дело разрешалось. Если оно и могло быть, то гораздо прежде». [2]

Словом, Некрасов даже от малейшего касательства к этому делу отказывается, а не то, чтобы все дело самоотверженно взвалить на себя. Не только близким и заинтересованным лицам, но и таким посторонним, как, например, секретарь его редакции Николай Степанович Куроч-

---

[1] «Современник», 1913, 6, стр. 22.

[2] А. Н. Пыпин. «Н. А. Некрасов». II, 1905, стр. 170.

кин, сообщил он без всякой нужды, в минуту откровенной разговорчивости, что во всем виновата она. [1]

Об этом упоминает и Лемке, что, однако, не мешает ему говорить о «рыцарской защите чести женщины» и об «ужасной трагедии в жизни Некрасова».

«Даже для того»,—восхищается Мих. Лемке,— «чтобы очистить себя в глазах очень нужных ему людей, Некрасов все-таки и им не назвал имени истинной виновницы, но даже вообще в своем рассказе выгородил ее». [2]

Почему это Мих. Лемке понадобилось, чтобы Некрасов был образцом добродетели? Разве Некрасов не в праве быть таким же грешным человеком, как мы? Кому нужен выдуманный, приукрашенный Некрасов? Нет, Некрасов был живой человек, он влюблялся в женщин, как мы, и обманывал их, как мы, и этим он для нас гораздо ближе, чем если бы он и вправду был вместилищем всех добродетелей.

В данном случае мы должны прямо сказать, что он совершенно напрасно уверяет Панаеву, будто свято хранит ее тайну и до гроба не выдаст ее.

---

[1] «Наблюдатель», 1900, 2, стр. 304.

[2] А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем. П., 1917, VII, стр. 275.

VII

В чем же она виновата? В чем заключается это темное дело, в котором обвиняют ее?

Это дело сложное и путанное. Тут выступает на сцену другая столь же несчастная женщина, жена поэта Огарева, Марья Львовна, исковерканное и больное существо.

Когда Огарев, после тягучих раздоров, разошелся, наконец, с Марьей Львовной, он оставил у нее в руках один небезопасный документ: фиктивное заемное письмо на 300.000 рублей ассигнациями (85.000 рублей серебром). Марья Львовна уверяла его, что не посягнет никогда на эти подаренные ей деньги, а удовлетворится одними процентами. И действительно, долгое время она довольствовалась теми восемнадцатью тысячами, которые ежегодно под видом процентов выдавал ей ее бывший супруг. Из этих восемнадцати тысяч пять тысяч получал ее отец, а на остальные она жила за границей со своим давним сожителем, художником Сократом Воробьевым. [1]

Это была незаурядная и порою не противная женщина. Что-то в ней мелькало вдохновенное. Но главное ее свойство—сумбурность. Из таких

[1] Сократ Максимович Воробьев (1817—1888).

женщин вербуются психопатки, самоубийцы, морфинистки, героини сенсационных процессов. Они пьют водку и—сразу па трех языках—ведут лихорадочный надрывный дневник очень неразборчивым почерком. Руки у них потные, а волосы жидкие, и не многие из них доживают до сорокалетнего возраста. Тургенев звал Марью Львовну плешивой вакханкой. В ней была бездна эгоизма, цинизма, но была и нежность и наивность. Она была безумна и—себе на уме. Попадись такая барыня к русским присяжным, они непременно оправдали бы ее, но также оправдали бы и ее любовника, если бы тот пырнул ее ножом. Томный и рыхлый Огарев был, конечно, неспособен на это, он просто разлюбил ее и, деликатно отойдя от нее, посылал ей бесконечные тысячи франков—для нее и ее Воробьева.

Тут-то появилась Панаева. Еще в Петербурге она дружески сошлась с Марьей Львовной и стала незаменимой посредницей между женою и мужем. Марья Львовна, когда ей были нужны новые тысячи франков, писала своей дорогой Eudoxie, дорогая Eudoxie—Огареву, Огарев давал эти тысячи ей, и она пересылала их Марье Львовне. Но, конечно, вместе с тысячами она пересылала и сплетни, всячески внушая Марье Львовне, что та несчастная загубленная жертва, а Огарев ее палач и тиран.—«Но мы тебя спасем, мы за тебя постоим!»—и плешивая вакханка охотно приняла на себя эту роль обманутой и оскорбленной невинности, которую спасают от изверга, и разыгрывала эту роль как по нотам.—О, Eudoxie, ты одна понимаешь меня!—и вскоре у них образовался как бы тайный союз против

изверга, при чем, конечно, обе были свято уверены в чистоте и правоте своих чувств. Спасительница писала спасаемой:

— «Я очень, очень беспокоюсь о тебе' право, не знаю, как бы мне устроить дело, избавив тебя от неприятностей по случаю сего дела. Трудно, очень трудно теперь ладить тебе с ним [с Огаревым]... Они [т.-е. Огарев и его друзья] обобрали тебя, посулив тебе спокойствие, ты теперь в денежных отношениях хуже, чем была. Я страшно зла на твоего мужа, много я знаю и собираю об нем сведений, и если бы ты была женщина с характером и с могучим здоровьем, то я бы тебе порассказала бы его подвиги». [1]

Дальше шли рассказы о «пороках» изверга, о его «развратном поведении», о том, что изверг топчет Марью Львовну в грязь, губит ее жизнь и т. д.

И в другом позднейшем письме, случайно дошедшем до нас, и несомненно во всех недошедших, она пишет Марье Львовне о «подлости и гнусности Огарева и его друзей», которые «обрабатывали втайне свои грязные и бесчестные поступки»... [2]

— Но мы тебя спасем, не беспокойся!—таков обычный лейтмотив этих писем: «будь покойна, я заставлю Иван Иваныча переписаться с Огаревым...», «Иван Иваныч едет сегодня в город и напишет Огареву письмо...».

[1] М. Гершензон. «Русские Пропилеи». М. 1917, т. IV, стр. 83—84.

[2] Там же, стр. 95.

Союз против изверга ширился, образовалась как бы анти-огаревская партия, которая вскоре, конечно, заглохла бы, если бы изверг через четыре года после расхождения с женой не совершил еще одного преступления: если бы он не влюбился. Он влюбился в Консуэллу Тучкову, и Консуэлла полюбила его, и в 1849 году они соединились не венчанные. За это ему не будет пощады. И хотя Марья Львовна уже семь или восемь лет мирно сожительствовала на огаревские деньги со своим благодушным Сократом и имела от него ребенка (которого изверг деликатно признал своим), она теперь с новым приливом истерики почувствовала себя загубленной жертвой. Она словно родилась для этой роли, словно всю жизнь только ее и ждала и теперь сыграла ее с огромным подъемом, с восторгом,—вдохновенная, растрепанная, пьяная.

Желая жениться на своей Консуэлле, Огарев через посредство друзей попросил у плешивой вакханки развода, но плешивая вакханка взяла такой исступленно-трагический тон, что друзья Огарева в отчаянии писали ему:

— Это безумная!

— Это грязная Мессалина с перекрестка.

— Это погибшее и немилое создание... [1]

Конечно, Авдотья Яковлевна поддерживала ее в ее буйном и жестоком упрямстве, и хотя это не слишком похвально, но преступления тут нет никакого, это ведь обычное дамское. К тому же они обе, повторяю, были уверены

[1] А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем. П. 1917, т. V, стр. 255—256.

в своей правоте, так как у Огарева в ту пору действительно была репутация распутника и, покуда он не влюбился в Тучкову, он, по его собственным словам, «вел беспутную, почти распутную жизнь», учинял всевозможные «гадости», [1] и сам же писал Марье Львовне:

Я несть готов твои упреки,
Хотя и жгут они как яд.
Конечно, я имел пороки,
Конечно, в многом виноват. [2]

И кто же станет обвинять Авдотью Яковлевну за то, что, в добросовестном и бескорыстном заблуждении, она встала на защиту оскорбляемой? Ведь не знала же она Огарева так, как знаем его теперь мы, ведь не читала же она тех ста тридцати восьми его писем, с которыми недавно познакомились мы по «Русским Пропилеям» и «Образам прошлого». К тому же и у Огарева была своя дружно-сплоченная партия, отнюдь не щепетильная в выборе средств.

Как бы то ни было, Марья Львовна не только не дала Огареву развода, но внезапно, к великому его изумлению, предъявила к нему иск, подала ко взысканию все его заемные письма, потребовав у него через ту же Панаеву триста тысяч рублей ассигнациями, и для обеспечения иска наложила по суду запрещение на его огромное имение, стоившее около пятисот

[1] М. Гершензон. «Образы прошлого». М. 1912, стр. 505, 515.

[2] Это стихотворение не было им послано, но тон его писем к ней—такой же.

тысяч рублей, единственное уцелевшее у него от многомиллионного наследства, при чем ведение всего этого дела поручила той же Eudoxie. Eudoxie горячо принялась за работу, привлекла к себе ретивых помощников и блистательно выиграла процесс: имение «Уручье» Орловской губернии, Трубчевского уезда, в 550 душ и 4000 десятин, перешло по суду к Марье Львовне и было небезвыгодно продано, чтобы Марья Львовна могла получить свои деньги.

До сих пор все ясно и просто, но тут произошло непонятное.

Оказывается, Марья Львовна денег никаких не получила (а если и получила, то мало) и через несколько лет после процесса, в 1855 году скончалась в вопиющей нищете. Огарев, которому после продажи имения причиталась изрядная сумма, тоже не получил ничего. Как это произошло, мы не знаем. У нас нет никаких документов. Воздержимся от всяких догадок, они все равно не приведут ни к чему, и не станем никого осуждать на основании одних только непроверенных слухов. Мы не отрицаем того, что она могла истратить эти деньги: в то время она была большая мотовка и оставляла у портних и ювелиров огромные деньги, свои и Некрасовские, но ведь тут могла быть виновата совсем не она, могли быть виноваты друзья Огарева, ведшие этот процесс; они действовали так неумело, что опытные люди еще до начала процесса предсказывали, что они разорят Огарева.

— «Доверители Огарева, не понимая ровно ничего, действуют так, что и сам Огарев может

остаться ровно без ничего»,—писал Панаеву отставной штабс-ротмистр Шаншиев еще в июле 1849 года. [1]

Кто знает, может быть так и случилось, тем более, что некоторые из этих друзей, взявшие на себя устройство других его дел, Сатин и Павлов, вскоре окончательно разорили его. [2]

Да и Шаншиев был в этом деле далеко не безгрешен. Он, при всей своей анекдотической глупости, не слишком бескорыстно относился к чужому добру. По крайней мере Чернышевский уже в 1860 году писал Добролюбову: «Некрасов должен был иметь свирепую сцену с Шаншиевым, чтобы принудить его к возвращению поместья (то-есть, к возвращению одного поместья вместо другого,—Огаревское поместье не хотел брать Сатин, потому что на нем Шаншиев прибавил 25 тысяч нового долгу, сверх прежнего, а Шаншиев не хотел возвращать по своей крайней глупости. Сатин согласился взять взамен Казанское, поместье Шаншиева, которое стоит больше Огаревского, но, по глупому мнению Шаншиева, скорее могло быть отдано, чем Огаревское). Чтобы уломать этого дурака Шаншиева, Некрасов принужден был попросить всех уйти из комнаты, оставив его наедине с Шаншиевым, запер дверь на замок и—что там кричал на Шаншиева, известно богу да им двоим, только между прочим чуть

---

[1] «Русские Пропилеи», М. 1917, IV, стр. 96.

[2] А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем. П. 1917, т. VIII, стр. 273.

не побил его. Шаншиев струсил и подписал мировую». [1]

Если же Панаева и присвоила часть этих денег, то нечаянно, без плана и умысла, едва ли сознавая, что делает. Тратила деньги, не думая, откуда они, а потом оказалось, что деньги чужие. Это ведь часто бывает. Деньги у нее никогда не держались в руках, недаром ее мужем был Панаев, величайший транжир. Некрасов тоже приучил ее к свободному обращению с деньгами. Да и раздавала она много: кто бы ни просил, никому не отказывала. Этак можно истратить не одно состояние. Виновата ли она, мы не знаем, но если виновата, мы с уверенностью можем сказать, что злой воли здесь она не проявила, что намерения присвоить чужое имущество у нее не было и быть не могло. Это противоречило бы всему, что нам известно о ней.

В одном из своих писем она, как мы знаем, писала, что после смерти сына в 1848 году она немного «свихнула с ума». И тут же прибавляла, что это временное сумасшествие выразилось тогда в целом ряде поступков, которые противоречат ее убеждениям и всему ее душевному складу.

Нет ли в этих словах указания на огаревское дело? Даты вполне совпадают. Если так, то

[1] «Переписка Чернышевского». М. 1925, стр. 83. Это письмо стало нам известно лишь очень недавно. Им опровергается указание Лемке, будто Добролюбов ничего об этом деле знать не мог, так как ему было в то время 13—15 лет.—Дело тянулось долго, до шестидесятых годов.

вина ее меньше, чем кажется. Во всяком случае можно сказать, не боясь ошибиться, что начала она огаревское дело с искренним желанием помочь Марье Львовне, поддержать и утешить несчастную женщину.

VIII

Какова же в этом деле роль Некрасова?

— «Здравствуйте, добрая и горемычная Марья Львовна!»—писал он ей в 1848 году.— «Ваше положение так нас тронуло, что мы придумали меру довольно хорошую и решительную»... «Доверенность пишите на имя Коллежской Секретарши Авдотьи Яковлевны Панаевой и прибавьте фразу—с правом передоверия кому она пожелает»... «А в конце прибавьте—в том, что сделает по сему делу Панаева или ее поверенный, я спорить и прекословить не буду». [1]

Так что нельзя утверждать, будто он не имел к этому делу никакого касательства: он именно и научил Марью Львовну довериться во всем Авдотье Яковлевне. Замечательно, что в своем письме к Марье Львовне он пишет не я, но мы:

— Мы придумали меру довольно хорошую...

— Мы можем теперь обещать...

То-есть говорит не от своего имени, а от имени обоих Панаевых, и тем устанавливает свою солидарность с их действиями. Ив. Ив. Панаев в своем письме к Марье Львовне тоже говорит от лица всех:

---

[1] «Русские Пропилеи». М. 1917, IV, стр. 85.

— Мы беремся устроить это...

— Мы не скрываем от вас ничего...

Так что ответственность за ведение этого дела падает на них троих одинаково.[1] Но Панаев—существо безответственное, а Некрасова недаром почитали великим практиком, финансовым гением. Естественно, что на него потом упала и самая большая ответственность.

Но, кажется, вся его вина только в том, что, под влиянием любимой женщины, он пожалел Марью Львовну и посоветовал ей начать против Огарева процесс.

Значит ли это, что он присвоил себе огаревские деньги? что он ограбил и разорил Марью Львовну? что он, как выражался по этому поводу Герцен, мошенник, мерзавец и вор? Нет, нисколько не значит. Чуть только началась эта тяжба, Некрасов отстранился от нее совершенно, потеряв к ней всякий интерес, и с головою ушел в «Современник», который именно в те черные годы требовал огромной работы. Во всяком случае нет никаких доказательств, что он участвовал в дележе этих денег. Из писем Авдотьи Яковлевны к Ипполиту Панаеву явствует, что в пятидесятых годах она располагала какими-то весьма крупными суммами, которыми распоряжалась вполне самостоятельно, независимо от Некрасова, и что вообще ее денежные дела почти не соприкасались с не-

[1] Герцен так и писал М. К. Рейхель (11 апр. 1856 г.): «Некрасов и Панаев... украли всю сумму. И все это шло через Авдотью Яковлевну». А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем. П. 1917, т. VIII, стр. 268.

красовскими. Даже за советами по поводу своих денежных дел обращалась она не к нему, но к Ипполиту Панаеву. А денежных дел у нее было много: тут и заемные письма, и векселя, и какой-то маклер, и какая-то ростовщица Севрюгина, и пособие бедным родственникам,—поразительно, сколько денег раздавала она бедным родственникам! Некрасов тут совсем в стороне. Эти деньги шли мимо него. Он о них не знал, не интересовался ими. Да и огаревское дело в то время уже всецело лежит на Панаевой. Она и сама в одном из писем берет ответственность за это дело на себя.

— «Я должна», — пишет она, — «окончить дело Огаревой как можно скорее и для этого вернусь в Россию. Это дело мучит меня страшно». [1]

Ясно, что в пятидесятых годах Некрасов не имел уже никакого отношения к этому делу.

Дело вели Шаншиев, Сатин, Павлов и, кажется, Ник. Ник. Тютчев, но замечательно, что когда оно кончилось, все в один голос сказали, что виноват Некрасов. Такая у него была репутация. Никто не знал, совершил ли он этот темный поступок, но все так охотно и скоро поверили, что совершил его именно он. Похоже, что от него только такого поступка и ждали. Распусти такую клевету о другом, все хоть на миг усомнились бы, а тут с закрытыми глазами

---

[1] Неизданное письмо из Парижа к Ипполиту Панаеву от 12 июня 1857 года (из архива Пушкинского Дома).

уверовали, так как у всех уже заранее подготовилось мнение, что Некрасов на это способен.[1]

Конечно, о полной непричастности Некрасова к этому делу не может быть и речи. Известно, например, что контора его «Современника» уплачивала из года в год изрядные суммы Огареву. Значит, сам Некрасов признавал свой долг. Но в чем была его вина, мы не знаем.

Правда, есть слухи, будто Авдотья Яковлевна, присвоив огаревские деньги, отдала их своему мужу, Ивану Панаеву, а Иван Панаев вложил их в «Современник» и, таким образом, дал их Некрасову, но слухи эти, кажется, ни на чем не основаны[2].

— «Кетчер обвинял тебя в огаревском деле, что по твоим советам поступала Авдотья Яковлевна, и словом, что ты способен ко всякой низости», — писал Некрасову впоследствии Боткин[3], и именно эта всеобщая вера в его способность ко всякой низости сыграла здесь главную роль.

Некрасов уже не оправдывался. Он и не пытался опровергать эти слухи. А слухи становились все громче и вскоре проникли в печать. В 1868 году Герцен прямо заявил в своем «Колоколе», что Некрасов украл у Огарева больше ста тысяч франков, а через два-три года Лесков рассказал в одной своей петербургской бро-

[1] Герцен между прочим утверждает, что Некрасов занимался скупкой векселей Огарева, но об этом до сих пор ничего неизвестно («Современник», 1913, 6, стр. 20).

[2] «Былое», 1924, № 22, стр. 107.

[3] «Голос Минувшего», 1916, 4, стр. 187.

шюре, что Герцен не пустил Некрасова к себе в дом, так как между Некрасовым и женой Огарева возникли «денежные недоразумения».[1]

Некрасов словно не заметил этих выпадов: ни единым словом не отозвался на них.

[1] «Колокол», 1868, л. л. 14 и 15.—Полное собрание сочинений Н. С. Лескова. П. 1897, т. VIII, стр. 59.

IX

Итак, он способный ко всякой низости архимерзавец и вор, она—злокачественная интриганка,—такова о них всеобщая молва.

Кто же она в самом деле такая? Хищница? Авантюристка? Интриганка?

Напротив, очень простая, добродушная женщина, то, что называется «бельфам». Когда ей исполнилось, наконец, сорок лет, и обаяние ее красоты перестало туманить мужчин, оказалось, что она просто не слишком мудрая, не слишком образованная, но очень приятная женщина. Покуда она была в ореоле своей победительной молодости, мы только и слышали, что об ее удивительном, ни у кого не встречавшемся матово-смуглом румянце, об ее бархатном избалованном, кокетливом голосе, и мудрено ли, что она казалась тогда и остроумной, и изысканной, и поэтичной! Но вот ей сорок лет: она круглая, бойкая кумушка, очень полногрудая, хозяйственная, домовитая матрона. Уже не Eudoxie, но Авдотья — это имя к ней чрезвычайно идет. Она именно Авдотья—бесхитростная, угощающая чаем и вареньем. Из любовницы стала почти экономкой, полезным, но малозаметным существом, у которого в сущности и нет никакой

биографии. Потому то о ней так мало написано, особенно об этой полосе ее жизни, потому то ни один из тысячи знавших ее литераторов не оставил нам ее характеристики. Что же и писать об экономке? С ней здороваются очень учтиво и спешно идут в кабинет к хозяину, к Николай Алексеичу, тотчас же забывая о ней, а она зовет Андрея и велит отнести в кабинет два стакана чая с вареньем.[1] Конечно, я чуть-чуть преувеличиваю, все это было не так обнаженно, Некрасов изредка чувствовал к ней прежнюю бурную нежность, — но долго это длиться не могло, и на 43 году своей жизни, вскоре после смерти Панаева, она, повторяю, ушла от него навсегда. Некрасов купил у нее за 14 тысяч рублей серебром Панаевскую долю «Современника» и выплачивал ей маленькую пенсию.

Кроме того,—сообщает Жуковская,—он выдал ей векселями пятьдесят тысяч рублей,[1] но «привыкши жить широко и хлебосольно», она продолжала свой прежний широкий образ жизни и очень скоро спустила 50.000, в чем ей помог ее муж, всегда беспечный.

---

[1] «У меня было много хлопот с постоянными гостями, ежедневно набиравшимися и к завтраку, и к обеду».—[Вы] вечно в хлопотах о хозяйстве»,—говорил ей Белинский.—«Вы хорошая хозяйка»,—говорил ей Слепцов (Воспоминание Авдотьи Панаевой. Л. 1927, стр. 237, 459). «Авдотья Яковлевна Панаева заведует хозяйством Некрасова», — говорила воспитанница поэта подруге («Научное Обозрение». 1903, IV).

[1] «Былое». 1923, № 22, стр. 107. Это подтверждается письмом Некрасова к Гаевскому, напечатанным ниже.

Новое супружество было для нее тихою пристанью. На диво сохранившаяся, моложавая, она на пятом десятке умудрилась, наконец-то, стать матерью, и вся отдалась воспитанию неожиданной своей дочери, которой по возрасту годилась бы в бабушки. Муж, конечно, скоро кинул ее: он не был создан для единобрачной любви, да она и не нуждалась в его верности. Главное, что требовалось от него, он ей дал: ребенка. Исполнилась ее заветная мечта,—она мать, у нее прекрасная дочь, и больше ничего ей не нужно. Ее простенькую, незамысловатую душу всегда влекло к семейному уюту, к материнству. Она ведь была не мадам де Сталь, не Каролина Шлегель, а просто Авдотья, хорошая, очень хорошая русская женщина, которая почти случайно очутилась в кругу великих людей.

Она оставила о них воспоминания, знаменитые свои мемуары, где чуть не в каждой главе мы читаем:

— Я приготовила Костомарову горячего *чаю*...

— Тургенев очень часто пил *чай* у меня...

— Разливая *чай* в столовой, я слышала, как ораторствовал Кукольник...

— Я стала разливать *чай*; Глинка как бы одушевился...

— Некрасов завел разговор с Добролюбовым, а я отправилась распорядиться, чтобы подали *чай*...

Мудрено ли, что эта элементарная женщина запомнила и о Тургеневе, и об Аполлоне Григорьеве, и о Льве Толстом, и о Фете, и о Достоевском, и о Герцене лишь обывательские элементарные вещи, обединила и упростила

их души. Похоже, что она слушала симфонии великих маэстро, а услышала одного только чижика. Не будем на нее за то сердиться: все же книга вышла у нее занимательная, отличная, живописная книга, полная драгоценнейших сведений. Конечно, в ее книге много сплетен, но эти сплетни тоже ей к лицу. Таково уж было воспитание Панаевой. Она выросла в театре, за кулисами, где все только и жили, что сплетнями. Шестилетняя, семилетняя девочка, она уже знала в подробности, кто с кем живет, кто кого содержит, у кого какой обожатель, кто кому наставил рога, и жадно впитывала в себя эту амурную грязь и запомнила ее на семьдесят лет.

Потому то мы так часто читаем в ее мемуарах:

— Невахович содержал Смирнову...

— Лажечников соблазнил барышню...

— Межевич свел интрижку с девицей...

— Будь Линская смазливая личиком, у нее нашелся бы покровитель из чиновников.

— Помещик пригласил к себе с улицы женщину...

Образования она не получила никакого. Ее отдали в пресловутую театральную школу, где, по ее собственным словам, у воспитанниц была одна мечта: найти себе богатого поклонника.

Полукокотская, полугаремная, бездельная, жеманная жизнь, с леденцами, цветами, амурами, томным глазением на улицу, где мимо окон целыми стадами по целым часам томно маршировали поклонники—вот что такое была эта казенная школа,— питомник смазливых любовниц для николаевских канцелярских хлыщей.

Кроме как французскому лепету, там ничему не учили. [1] «Пучи из бента танцер полита»,—расписался при получении жалования один из окончивших школу, и эти каракули должны были обозначать: «Получил из Кабинета. Танцор Полетаев». Письма самой Eudoxie отличаются почти такой же орфографией. Она несомненно была самой безграмотной из русских писательниц. Она писала «опот» (опыт), «дерзский», «счестное слово», «учавствовать». Те отрывки из ее писем, которые напечатаны выше, не воспроизводят подлинной ее орфографии, так как мы сочли это лишним. Легко вообразить, сколько приходилось Некрасову трудиться над исправлением ее повестей и рассказов. [2]

Другая ее школа—Александринский театр, но там, в угоду «канцелярской и апраксинской сволочи», ставились в большинстве случаев пьесы: «Вот так пилюли», «Не ест, а толстеет!», «Ай да французский язык!». «Женитьба» Гоголя терпела провал; зато с несравненным успехом шла пьеса «Обезьяна жених или жених обезьяна», где в роли обезьяны балаганил паяц, специально приглашенный из цирка». [3]

А дома было еще хуже, чем там. Ее мать была картежница, деспотка, вся кипящая закулисными дрязгами. Отец усталый, равнодушный

---

[1] А. А. Нильский, «Закулисная хроника». П., стр. 9—10;—Ежегодник имп. театров, 1895—6, стр. 126.

[2] См., напр., ее письма, напечатанные в «Русских Пропилеях» (т. IV, стр. 85 и 95).

[3] «Театральные воспоминания» Р. Зотова. П. 1860, стр. 82.—А. И. Вольф. «Хроника Петербургских. Театров» и т. д.

ко всему, махнул рукой на все, кроме бильярда. Теперь нам известно, что в своем первом романе, в «Семействе Тальниковых», она изобразила родителей [1] и что, значит, ее детство было поистине каторгой. Не странно ли, что все же она вышла такая добродушная и любящая? А она и вправду была по настоящему добрая—бабьей, теплой, материнской добротой. Прочтите у нее в «Воспоминаниях» страницы, посвященные страдальчески-погибающим людям, — Добролюбову, Мартынову, Белинскому,—вы почувствуете, что это могла написать только жалостливая, хорошая женщина.

Ее беспрестанно тянуло ласкать и утешать кого-нибудь: то она возится со своими племянниками, то ухаживает за больным Добролюбовым, то няньчится с его осиротевшими братьями, то воспитывает побочную сестру Некрасова Лизаньку—вечно жаждет излить на кого нибудь свои нерастраченные материнские чувства. Для маленьких Добролюбовых она была если не матерью, то щедрой и балующей теткой. Когда Добролюбов, больной, уехал за границу, она—сама больная и измученная семейными дрязгами,—прилепилась всей душой к его братьям: угощала их леденцами, катала в своей коляске по городу, играла с ними в разные детские игры,—словом, всячески старалась подсластить их безрадостное сиротское детство.

[1] Вал. Алекс. Панаев свидетельствует: «О детстве ее более или менее можно судить по повести «Семейство Тальниковых», подписанной Станицким (псевдоним Авдотьи Яковлевны)». («Русская Старина», 1893, 8, стр. 345).

— «Ей теперь не до нас с Ванечкой»,—писал из-за границы Добролюбов, знавший, как тяжело она переживала в то время начавшееся охлаждение Некрасова, но, кажется, именно по этой причине она горячо ухватилась за них.

Вот что писал Добролюбову его дядя Василий Иванович:

— «Володя весел, бывает каждый день у Авдотьи Яковлевны. Отправляется туда обедать и сидит часов до восьми-девяти. Иногда и позже приходит, когда Авдотья Яковлевна ездит с ним на острова».

И через несколько дней опять:

— «Она с ними ездила на острова, накупила игрушек, и они играют вместе...»

И через некоторое время опять:

— «Дети часто бывают у Авдотьи Яковлевны, и она попрежнему их балует, покупая им игрушки и разъезжая с ними по островам и по Петербургу. Ваня часто у нее читает и пишет».

Ваня простудился, слег в постель. «Авдотья Яковлевна почти каждый день бывает у нас. Раз сидела целый вечер, и мы играли в лото; Ванечка выиграл и был крайне доволен. Денег она ему серебром надавала (на лакомство) до семи рублей, накупила рубашек, кофт и кофточек, карандашей, нож и прочие игрушки». [1]

Приехал Добролюбов, умирающий, она ухаживает за ним, как жена. Он умирает, она заботится о его братьях еще больше, отдает им все

---

[1] «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова» (собранные Н. Г. Чернышевским). М. 1890, стр. 455, 581, 583, 537, 888, 595, 596, 607.

свои свободные дни — и особенно хлопочет о том, чтобы те, по молодости лет, не забыли, какой у них был удивительный брат, дарит им его портреты, рассказывает им о его жизни. [1]

Конечно, в этом нет ничего героического, но и цинизма тут нет. Во всем, что она делала, чувствуется немудреная, простодушная, обыкновенная русская женщина,—нисколько не вампир и не интриганка, как принято ее изображать.

В сущности она могла бы быть гораздо хуже. В одном из своих писем она говорит:

«Иногда я думаю, что я не виновата в том, чем я сделалась. Что за детство варварское, что за унизительная юность, что за тревожная и одинокая молодость!» [2]

---

[1] Е. Ф. Литвинова. «Воспоминания о Некрасове» «Научное Обозрение». 1903, 4.

[2] Неизданное письмо к Ипполиту Панаеву, от 5 августа 1857 г. (оригинал в Пушкинском Доме).

X

Конечно, ее мемуары пристрастны. Она, например, терпеть не может Тургенева. Тургенев у нее на страницах и выжига, и фат, и фанфарон. Но ведь цель у нее благороднейшая: вознести и восславить Некрасова, который был так тяжко перед ней виноват,—и посрамить, и обличить его врагов.

Некрасов выходит у нее под пером лучшим из людей, а все его враги нехорошими: и Тургенев, и Боткин, и Анненков.

Это в ней прекрасная черта,—верность Некрасову, вдовья, посмертная преданность столь любившему и столь мучившему ее человеку. Все ее суждения внушены ей Некрасовым. Она в своих мемуарах бранит того, кого бранил бы он, и хвалит того, кого хвалил бы он. Ее книга как бы продиктована им. Когда эта книга писалась, Некрасов был уже давно в могиле, но Авдотья Яковлевна и через сорок лет после сожительства с ним смотрит на все его глазами, думает обо всем, как думал он. Это патетично и трогательно.

Ее мемуары считаются сплетническими; еще бы! Каких же других ожидать от нее мемуаров! Зато книга читается, как бульварный роман—самая аппетитная книга во всей нашей

мемуарной словесности. Все в ней живописно, драматично, эффектно и ослепительно-ярко. Что за беда, если она кое что позабудет, напутает! Все же она видела редкостные, незабвенные вещи, знала изумительных людей! Конечно, попадаются ошибки чудовищные: она, например, рассказывает, как Гоголь у нее на квартире встретился в 1847 году с Белинским,—между тем, как Гоголь в эту пору был в Святой Земле, в Иерусалиме, а Белинский в Зальцбрунне, в Саксонии, квартира же Панаевой была в Петербурге у Аничкина моста! Таких ошибок у нее чрезвычайное множество: то встретит Огарева в Париже, когда тот у себя в деревне, то пошлет Некрасова в Марсель, когда тот в Новгородской губернии. Октябрь у нее превращается в май, Карловна—в Павловну, Ротчев—в Рачера, Делаво—в Деларю.

Но все же большинство эпизодов она запомнила и рассказала точно. Даже то, что она говорит о Тургеневе, ближе к истине, чем кажется сначала. Она, например, изображает Тургенева фатом, мечтающим о светских успехах; но ведь Тургенев и сам впоследствии говорил о себе:

— «Я был предрянной тогда: пошлый фат да еще с претензиями» [1].

Она пишет о страсти молодого Тургенева к сочинению разных небывалых историй; но куда резче об этой страсти выражается Огарева-Тучкова:

---

[1] «Тургеневский сборник», П. 1915, стр. 93.

— «Вчера явился Тургенев. Он здесь получил репутацию удивительного лгуна» [1].

Об этой же склонности автора «Записок охотника» к сочинению разных небылиц говорит и его приятель П. В. Анненков в статье «Молодость И. С. Тургенева» [2].

Далее Панаева рассказывает, как Тургенев пригласил к себе на обед целую кучу гостей, в том числе и Белинского, а сам уехал неизвестно куда. Голодные гости прибыли в назначенный час—ни хозяина, ни обеда нет! Это тоже подтверждается фактами; по крайней мере Анненков и Фет повествуют о таких же эпизодах.

Даже мифическая история с Гоголем не совсем лишена основания. Что-то такое было. Некрасов рассказывал о своем свидании с Гоголем то же самое, теми же словами. Панаева перепутала даты,—но что-то такое было.

Да она и не выдает свою книгу за точнейшее воспроизведение действительности. Она сама предупреждает читателя:

— У меня плохая память на фамилии...

— К несчастию я страдаю отсутствием памяти на года и фамилии...

— Я забывчива на имена и фамилии... [3]

Не будем же придираться к ней. В ее мемуарах ровно столько отклонения от истины, сколько

---

[1] М. О. Гершензон. «Русские Пропилеи». М. 1917, IV, стр. 141.

[2] П. В. Анненков. «Литературные воспоминания», 1909, стр. 473.

[3] «Воспоминания» Авдотьи Панаевой. Л. 1927, стр. 172, 283, 356.

полагается во всех мемуарах. Законной нормы она не нарушила. Недаром такой требовательный историк, как Пыпин, отнесся к ней с полным доверием.

— «О том довольно многом,—пишет он,— о чем я слышал из других источников или сам знал, в этих воспоминаниях, может быть, при некоторых личных пристрастиях, много совсем справедливого». [1]

Вообще книга Паневой, гораздо серьезнее, чем это кажется с первого взгляда. Пусть в ней не верны детали, но общее и главное изображено с необыкновенною точностью.

Она писала эту книгу в лютой бедности. Писала о своих роскошных обедах, о своих всемирно-прославленных друзьях, о своих лакеях и каретах, а сама сидела на Песках, на Слоновой улице, в тесной, убогой квартирке, голодная, всеми забытая [2]. Когда Некрасов был жив, он посылал ей изредка какие то рубли, но должно быть неохотно и мало, потому что однажды один ехидный пиита послал ему такие стишки:

Экс-писатель бледный
Смеет вас просить
Экс-подруге бедной
Малость пособить.

Вы когда-то лиру
Посвящали ей,
Дайте ж на квартиру
Несколько рублей.

---

[1] А. Н. Пыпин. «Н. А. Некрасов». П. 1895, стр. 68.

[2] Это сообщил мне ее крестник М. Н. Чернышевский, сын публициста.

Некрасов умер в том же году, что и ее муж,— несколькими месяцами позже. Она пережила трех мужей,—осталась без копейки и, просуществовав незаметно еще 15—16 лет, скончалась на семьдесятом четвертом году (30 марта 1893 года) и была погребена на Волковом кладбище рядом со своим последним мужем. Ее смерть была замечена немногими.

Теперь, кажется, ее забыли совсем, а не мешало бы, проходя по Литейному, мимо того длинного, желтого, трехэтажного дома, где, как сказано на мраморной доске, жил и скончался Некрасов, вспомнить смуглую, большеротую, черноволосую, полную женщину, которая так часто смотрела заплаканными маслянистыми глазами на эту улицу из этого окна.

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕКРАСОВА,
ПОСВЯЩЕННЫЕ
АВДОТЬЕ ПАНАЕВОЙ

1848

*
* *

Поражена потерей невозвратной,
Душа моя уныла и слаба:
Ни гордости, ни веры благодатной—
Постыдное бессилие раба!

Ей все равно—холодный сумрак гроба,
Позор ли, слава, ненависть, любовь,—
Погасла и спасительная злоба,
Что̀ долго так разогревала кровь.

Я жду... но ночь не близится к рассвету,
И мертвый мрак кругом... и та,
Которая воззвать могла бы к свету—
Как будто смерть сковала ей уста!

Лицо без мысли, полное смятенья,
Сухие, напряженные глаза —
И, кажется, зарею обновленья
В них никогда не заблестит слеза. [1])

[1]) **В последних двух строфах изображена Авдотья Панаева, потрясенная смертью своего новорожденного сына (отцом которого был Некрасов).**

1850

*
* *

Я не люблю иронии твоей.
Оставь ее отжившим и не жившим,
А нам с тобой, так горячо любившим,
Еще остаток чувства сохранившим —
Нам рано предаваться ей!

Пока еще застенчиво и нежно
Свидание продлить желаешь ты,
Пока еще кипят во мне мятежно
Ревнивые тревоги и мечты —
Не торопи развязки неизбежной!

И без того она не далека:
Кипим сильней, последней жаждой полны,
Но в сердце тайный холод и тоска...
Так осенью бурливее река,
Но холодней бушующие волны...

1850

*
* *

Да, наша жизнь текла мятежно,
Полна тревог, полна утрат,
Расстаться было неизбежно —
И за тебя теперь я рад!
Но с той поры кàк все кругом меня пустынно!
Отдаться не могу с любовью ни чему,
И жизнь скучна, и время длинно,
И холоден я к делу своему.
Не знал бы я, зачем встаю с постели,
Когда-б не мысль: авось и прилетели
Сегодня, наконец, заветные листы,
В которых мне расскажешь ты:
Здорова ли? что думаешь? легко ли
Под дальним небом дышется тебе,
Грустишь ли ты, жалея прежней доли,
Охотно-ль повинуешься судьбе?
Желал бы я, чтоб сонное забвенье
На долгий срок мне на душу сошло,
Когда-б мое воображенье
Блуждать в прошедшем не могло...
Прошедшее! его волшебной власти
Покорствуя, переживаю вновь
И первое движенье страсти,
Так бурно взволновавшей кровь,

И долгую борьбу с самим с собою,
И не убитую борьбою,
Но с каждым днем сильней кипевшую любовь.
Как долго ты была сурова,
Как ты хотела верить мне,
И как и верила, и колебалась снова,
И как поверила вполне!
(Счастливый день! Его я отличаю
В семье обыкновенных дней;
С него я жизнь мою считаю,
Я праздную его в душе моей!)
Я вспомнил все... одним воспоминаньем,
Одним прошедшим я живу —
И то, что в нем казалось нам страданьем,
И то теперь я счастием зову...

А ты?.. ты так же ли печали предана?..
И также ли в одни воспоминанья
Средь добровольного изгнанья
Твоя душа погружена?
Иль новая роскошная природа
И жизнь кипящая и полная свобода
Тебя навеки увлекли,
И разлюбила ты вдали
Всё, чем мучительно и сладко так порою
Мы были счастливы с тобою?
Скажи! я должен знать... Как странно я люблю!
Я счастия тебе желаю и молю,
Но мысль, что и тебя гнетет тоска разлуки
Души моей смягчает муки...

1850

*
* *

Так это шутка? Милая моя,
Как боязлив, как недогадлив я!
Я плакал над твоим рассчитано-суровым
Коротким и сухим письмом;
Ни лаской дружеской, ни откровенным словом
Ты сердца не порадовала в нем.
Я спрашивал: не демон ли раздора
Твоей рукой насмешливо водил?
Я говорил: «когда б нас разлучила ссора —
Но так тяжел, так горек, так уныл,
Так нежен был последний час разлуки...
Еще твой друг забыть его не мог,
И вновь ему ты посылаешь муки
Сомнения, догадок и тревог —
Скажи, зачем?.. Не ложью ли пустою,
Рассеяной досужей клеветою,
Возмущена душа твоя была?
И, мучима томительным недугом,
Ты над своим отсутствующим другом
Без оправданья суд произнесла?
Или то был один каприз случайной,
Иль давний гнев?..» Неразрешимой тайной
Я мучился: я плакал и страдал,
В догадках ум испуганный блуждал,
Я жалок был в отчаяньи суровом...

Всему конец! Своим единым словом
Душе моей ты возвратила вновь
И прежний мир, и прежнюю любовь;
И сердце шлет тебе благословенья,
Как вестнице нежданного спасенья...

Так няня в лес ребенка заведет
И спрячется сама за куст высокой;
Встревоженный, он ищет и зовет,
И мечется в тоске жестокой,
И падает, бессильный, на траву...
А няня вдруг: ау! ау!
В нем радостью внезапной сердце бьется,
Он все забыл: он плачет и смеется,
И прыгает, и весело бежит,
И падает—и няню не бранит,
Но к сердцу жмет виновницу испуга,
Как от беды избавившего друга...

1851

* * *

Мы с тобой бестолковые люди:
Что минута, то вспышка готова!
Облегченье взволнованной груди,
Неразумное, резкое слово.

Говори же, когда ты сердита,
Все, что душу волнует и мучит!
Будем, друг мой, сердиться открыто:
Легче мир и скорее наскучит.

Если проза любви неизбежна,
Так возьмем и с нее долю счастья:
После ссоры так полно, так нежно
Возвращенье любви и участья...

1854

*
* *

Давно—отвергнутый тобою,
Я шел по этим берегам
И, полон думой роковою,
Мгновенно кинулся к волнам.
Они приветливо яснели.
На край обрыва я ступил —
Вдруг волны грозно потемнели,
И страх меня остановил!
Позднейлюбви и счастья полны,
Ходили часто мы сюда,
И ты благословляла волны,
Меня отвергшие тогда.
Теперь—один, забыт тобою,
Чрез много роковых годов,
Брожу с убитою душою
Опять у этих берегов.
И та же мысль приходит снова —
И на обрыве я стою,
Но волны не грозят сурово,
А манят в глубину свою...

•

1856

ПРОСТИ

Прости! Не помни дней паденья,
Тоски, унынья, озлобленья, —
Не помни бурь, не помни слез,
Не помни ревности угроз!
Но дни, когда любви светило
Над нами ласково всходило
И бодро мы свершали путь —
Благослови и не забудь!

1856

*
* *

Тяжелый крест достался ей на долю:
Страдай, молчи, притворствуй и не плачь;
Кому и страсть, и молодость, и волю —
Все отдала—тот стал ее палач!

Давно ни с кем она не знает встречи;
Угнетена, пуглива и грустна,
Безумные, язвительные речи
Безропотно выслушивать должна:

«Не говори, что молодость сгубила
Ты, ревностью истерзана моей;
Не говори!.. близка моя могила,
А ты цветка весеннего свежей!

«Тот день, когда меня ты полюбила
И от меня услышала: люблю —
Не проклинай! близка моя могила:
Поправлю все, все смертью искуплю!

«Не говори, что дни твои унылы,
Тюремщиком больного не зови:
Передо мной—холодный мрак могилы,
Перед тобой—объятия любви!

«Я знаю: ты другого полюбила,
Щадить и ждать наскучило тебе...
О, погоди! близка моя могила —
Начатое и кончить дай судьбе!..»

Ужасные, убийственные звуки!..
Как статуя прекрасна и бледна,
Она молчит, свои ломая руки...
И что сказать могла б ему она?..

1856

*
* *

Тяжелый год—сломил меня недуг.
Беда застигла,—счастье изменило, —
И не щадит меня ни враг, ни друг,
И даже ты не пощадила!
Истерзана, озлоблена борьбой
С своими кровными врагами,
Страдалица! стоишь ты предо мной
Прекрасным призраком с безумными глазами!
Упали волосы до плеч,
Уста горят, румянцем рдеют щеки,
И необузданная речь
Сливается в ужасные упреки,
Жестокие, неправые... Постой!
Не я обрек твои младые годы
На жизнь без счастья и свободы,
Я друг, я не губитель твой!
Но ты не слушаешь . . . .
. . . .

1873

*
* *

**Ах! что изгнанье, заточенье!
Захочет—выручит судьба!
Что враг!—возможно примиренье,
Возможна равная борьба;**

**Как гнев его ни беспределен,
Он промахнется в добрый час...
Но той руки удар смертелен,
Которая ласкала нас!...**

**Один, один!.. А ту, кем полны
Мои ревнивые мечты,
Умчали роковые волны
Пустой и милой суеты.**

**В ней сердце жаждет жизни новой,
Не сносит горестей оно
И доли трудной и суровой
Со мной не делит ужь давно...**

**И тайна все: печаль и муку
Она сокрыла глубоко?
Или решилась на разлуку
Благоразумно и легко?**

Кто скажет мне?.. Молчу, скрываю
Мою ревнивую печаль,
И столько счастья ей желаю,
Чтоб было прошлого не жаль!

Что жь, если сбудется желанье?..
О, нет! живет в душе моей
Неотразимое сознанье,
Что без меня нет счастья ей!

Все, чем мы в жизни дорожили,
Что было лучшего у нас —
Мы на один алтарь сложили —
И этот пламень не угас!

У берегов чужого моря,
Вблизи, вдали он ей блеснет
В минуту сиротства и горя,
И—верю я—она придет!

Придет... и как всегда, стыдлива,
Нетерпелива и горда,
Потупит очи молчаливо.
Тогда... Что я скажу тогда?..

Безумец! для чего тревожишь
Ты сердце бедное свое?
Простить не можешь ты ее —
И не любить ее не можешь!..

1873

* * *

Бьется сердце беспокойное,
Отуманились глаза.
Дуновенье страсти знойное
Налетело, как гроза.

Вспоминаю очи ясные
Дальней странницы моей,
Повторяю стансы страстные,
Что сложил когда-то ей.

Я зову ее, желанную:
Улетим с тобою вновь
В ту страну обетованную,
Где венчала нас любовь!

Розы там цветут душистее,
Там лазурней небеса,
Соловьи там голосистее,
Густолиственней леса...

ПИСЬМО НЕКРАСОВА

К ГАЕВСКОМУ

В семидесятых годах заболел А. Ф. Головачев, второй муж Авдотьи Панаевой. Панаева, через посредство П. М. Ковалевского, обратилась за денежной помощью в комитет Литературного Фонда, в числе членов которого был и Некрасов. Поэт уклонился от обсуждения ходатайства своей бывшей жены и написал по этому поводу такое письмо председателю Литературного Фонда Гаевскому:

Любезнейший Виктор Павлович,

Возвращаю Вам письмо, от участия в обсуждении его желал бы устраниться,—затем, конечно, был бы рад, еслиб желание Ковалевского, которое значит есть отголосок желанья Авдотьи Яковлевны—нашлась возможность осуществить. Какой неизлечимой болезнию заболел г. Головачев, я не знаю,—недавно был он здоров. Итак, весь вопрос в этом. Если муж А[вдотьи] Я[ковлевны] точно лишился возможности работать и добывать, то, конечно, Комитет не оставит вдову Панаева без помощи.—

Почему я лично не ж[ел]ал бы участвовать в обсуждении этого дела, я пожалуй скажу в а м (это письмо пишется вообще для вас, а не для пришивки к делам комитета): не с большим 10 лет тому назад А[вдотья] Я[ковлевна] получила от меня 50 т[ысяч] р[ублей] сер[ебром], на что я имею документ и в то время у нее еще было кроме того движимости тысяч на десять.

Весь Ваш

Н. Некрасов.

Письмо хранится в рукописном отделе Государственной Публичной Библиотеки.

АВДОТЬЯ ПАНАЕВА.

СЕМЕЙСТВО ТАЛЬНИКОВЫХ.

Записки, найденные
в бумагах покойницы.

О «СЕМЕЙСТВЕ ТАЛЬНИКОВЫХ».

В «Семействе Тальниковых» Авдотья Панаева изображает свое уродливое, «варварское» детство. Эта повесть была написана в 1847 году и напечатана Некрасовым в «Иллюстрированном Альманахе», который был обещан, в виде премии, годовым подписчикам журнала «Современник». Но так как появление альманаха совпало с февральской революцией во Франции (1848), то секретный цензурный комитет, учрежденный Николаем I для обуздания русской печати, запретил альманах, усмотрев в повести Авдотьи Панаевой революционное потрясение семейных основ. Как рассказывает она сама в своих «Воспоминаниях», председатель комитета граф Бутурлин собственноручно делал заметки на полях ее повести: «цинично», «неправдоподобно», «безнравственно», а в заключение написал:—«Не позволяю за безнравственность и подрыв родительской власти».

Повесть так и не дошла до читателей, а между тем, если бы ей посчастливилось пробиться сквозь цензурные тиски, она несомненно, имела бы огромный успех, потому что вся система тогдашнего воспитания, тесно связанная с крепостническим, казарменно-департаментским строем николаевской Российской империи, здесь была обличена и опозорена. «Тальниковы» по своему общественному направлению естественно примыкают к «Антону Горемыке» Григоровича, «Сороке-воровке» Герцена и другим обличительным повестям молодой нату-

ральной школы сороковых годов. Недаром умирающий Белинский отнесся к повести с таким горячим сочувствием. Белинского не мог не пленить таящийся здесь социальный протест. Этот протест был высоко оценен и Некрасовым, который больше двух лет воевал с цензорами, добиваясь разрешения напечатать «Семейство Тальниковых» на страницах своего «Современника». Тема повести была Некрасову очень близка, так как он тоже с ненавистью вспоминал свои детские годы, тоже проклинал своего родного отца, как «деспота», «палача» и «развратника». В его стихах, написанных в ту пору, такое же суровое осуждение «отеческой кровли». Возможно даже, что поэт непосредственно участвовал в писании «Тальниковых», так как едва ли Панаева в те ранние годы вполне владела писательской техникой. Во всяком случае можно не сомневаться, что Некрасов подверг самой тщательной обработке первое произведение своей любимой подруги. Его рука чувствуется в повести буквально на каждой странице. Тем более ценна для нас эта повесть.

В судьбе «Семейства Тальниковых» принимал участие и Панаев. До нас дошло его письмо к цензору А. В. Никитенко с просьбой разрешить печатание повести в «Современнике» Дело осложнилось еще тем, что Никитенко был не только цензор, но и подставной редактор «Современника», ответственный перед властями за направление журнала. Печатаем это характерное письмо целиком (оно хранится в Пушкинском Доме):

«Почтеннейший Александр Васильевич, мы решительно в крайнем положении и недоумеваем, что делать с этим №.—Без «Семейства Тальниковых» 2 № будет заключать в себе не более 20 печатных листов и такой тощий номер по количеству листов может нам очень много повредить при подписке, которая до сих пор про-

должается. Вы знаете, что толщина книжки для большинства, то-есть для подписчиков имеет большую цену. «Семейство Тальниковых» по моему крайнему разумению вещь очень замечательная. Она могла бы• показаться слишком резкою без предисловия, но предисловие, кажется, смягчает ее достаточно. К тому же (и это нельзя упускать из виду при чтении) действие этого рассказа совершается не в наше время, а во время давно минувшее, следов[ательно] грубость и резкость изображаемых в нем нравов не должна так поражать читателя. Вы пишете к Некрасову: «хорошо ли дать журналу такую исключительную физиогномию, какая выростает для него из статей, подобных Семейству Тальниковых?» Но разве все повести, помещенные доселе в «Современнике» и одобренные вами—имеют эту исключительную физиогномию? «Семейство Тальниковых» может быть, в наше время принадлежит к исключительным явлениям, но несколько десятков лет [тому назад] такого рода семейства не были исключением на Руси... Боже сохрани меня от мысли бросаться зажмуря глаза туда, где на один авосьный скачок приходится двадцать кувырков и где можно переломить ногу, но я говорю Вам по совести, по искреннему и глубокому убеждению, что если ценсура пропускает Сороку-Воровку, я не знаю почему бы она не пропустила «Семейство Тальниковых»?

Вы знаете, до какой степени мы уважаем Вас, до какой степени дорожим Вашими советами. Вам, кажется, грех сомневаться в этом—и если вы после всех объяснений наших с Вами, чего я не думаю, колеблетесь сомнением в отношении к нам,—то позвольте мне сказать вам, почтеннейший Александр Васильевичь,—что Вы этим совершенно незаслуженно оскорбляете нас. Еще раз повторяю Вам, что мы дорожим Вами и ценим Вас вполне, что мы питаем к Вам безграничное и полное уважение и убеждены, что нас связывает с Вами не контракт, а духовные, внутренние убеждения.

Вот почему мне непонятна Ваша строгость к «Семейству Тальниковых». — Этот рассказ, разумеется, можно отложить и переделать слишком резкие места, по Вашим указаниям, но 2-й № ужасно отощает... вот в чем беда! Итак, нет ли какой-нибудь возможности пере-

делать теперь места, которые вы отметите? Мы с жаром принялись бы за это дело под вашим руководством. От Вашей воли зависит остановить «Семейство Тальниковых», вы имеете и право, и силу, и власть сделать это — и мы не станем противоречить вам; но повторяю, если есть какая-нибудь возможность пропустить этот рассказ с переделками, то Вы этим глубоко обяжете меня—и не потому, чтобы я питал какое либо пристрастие к Автору, а единственно потому, что я нахожу этот рассказ вещью, заслуживающей внимания.

Я уверен, почтеннейший Александр Васильевич, что Вы не рассердитесь на меня за это откровенное послание. Я люблю и уважаю Вас,—потому и высказываю Вам откровенно мои мысли. Мне тяжело думать что между нами может возникнуть какое-нибудь недоразумение—а потому я с нетерпением ожидаю Вашего ответа, прося Вас еще и еще увериться в мысли, что никто Вас не может уважать более

вполне преданного Вам

И. Панаева.

20 января (1848), ночь.

Повесть Герцена «Сорока-воровка», о которой упоминает Панаев, была разрешена цензурой в январе 1848 года (за несколько дней до февральской революции) и напечатана в той книжке, «Современника», где предполагалось напечатать и «Тальниковых». Но близкое соседство двух боевых повестей, столь громко обличавших крепостнические нравы самодержавной России, испугало Никитенка, и он, как мы видели, наложил свое veto на «Тальниковых». Некрасов попытался спасти запрещенную повесть. Он стал вымарывать из нее наиболее яркие сцены, намеренно придал ей фальшиво-благополучный конец, отодвинул действие в давнопрошедшее время, в эпоху Александра I, указав, что это—записки старухи, которая уже умерла, и наконец, написал предисловие, призванное затушевать и ослабить

обличительный пафос повести [1]). Но все эти меры оказались напрасны, потому что, хотя Никитенко и разрешил повесть в таком исковерканном виде, Бутурлин одним росчерком пера уничтожил ее.

Рукопись «Семейства Тальниковых» до нас не дошла, и мы воспроизводим текст по запрещенному Бутурлиным «Иллюстрированному Альманаху» (1848) где повесть Панаевой была напечатана на первом месте рядом с произведениями Достоевского, Майкова, Гребенки, Дружинина, Даля и Гамазова. Подпись под повестью—Н. Станицкий. Предисловие Некрасова нам разыскать не удалось. Возможно, что оно заменено послесловием, которое в нашем издании занимает последние шестнадцать строк повести.

К. Чуковский.

1) См. Мих. Лемке. „Очерки по истории русской цензуры и журналистики". П. 1904, стр. 214, 215.—„Некрасов по неизданным материалам Пушкинского дома", П. 1922, стр. 210, 217 и 219.

ГЛАВА I.

В комнате, освещенной нагорелой свечей, омывали тело умершей — шестимесячной моей сестры. Ее глаза с тусклым и неподвижным взором наводили на меня ужас. В комнате была тишина; ни отец мой, ни мать не плакали; плакала одна кормилица — о золоченом повойнике и шубе, которых лишилась по случаю слишком преждевременной смерти моей сестры: погоди она умирать пять, шесть месяцев, дело кормилицы было бы кончено, и обещанная награда не ушла бы от ее рук.

В первую минуту смерть произвела на меня сильное впечатление, но по совершенному равнодушию окружающих, по отсутствию отца и матери, я заключила, что смерть не важная вещь. Периодические ссоры матери с бабушкой казались мне гораздо важнее, по изобильным слезам бабушки и грозным крикам матери, которая требовала отчета: куда девались деньги, выданные на расход, и зачем так скоро вышла провизия?...

Я была всегда на стороне плачущих, потому-ли, что сама много плакала — не знаю; но плачущую бабушку мне было больше жаль, чем сердившуюся мать. За продолжительной ссорой следовало примирение, и новые слезы бабушки,

только уже не печальные, а радостные, заключали сцену до следующего месяца, то-есть до новой закупки провизии....

Когда я начала помнить себя, мне было около шести лет. В доме у нас жило много родных: две сестры матери, сестра и мать отца. Бабушку мы очень любили, потому что она нас баловала.... Маменька мало о нас заботилась, а отец, занятый службой, не обращал ни малейшего внимания на своих детей, число которых аккуратно каждый год увеличивалось. У меня уже было две сестры — Катя и Соня, три брата — Миша, Федя и Ваня.... Мы не питали особенной нежности к родителям, которые со своей стороны также не очень нас ласкали. Помню один случай: раз маменька уезжала лечиться на целое лето на воды. Наступил день, когда она должна была возвратиться: весь дом ожидал ее, но в тот день она не приехала. Нас уложили спать; но я не могла заснуть: мне очень хотелось видеть маменьку. Когда все ушли из комнаты, я тихонько встала с постели, села у окна и начала смотреть на улицу и прислушиваться к шуму. Но маменька не ехала! Я готова была плакать, сердце у меня сильно билось при малейшем шуме в других комнатах. Наконец весь дом заснул, заснула и я, измученная ожиданием, и мне приснилось, что маменька крепко целует и держит меня на руках: мне стало так весело. Вдруг слышу: маменька приехала! Я сбежала вниз, и первое мое движение было—кинуться к ней. Она, казалось, удивилась моей радости и поцеловала меня. Я заплакала.... Меня обступили, начали спрашивать, что со мною, о чем плачу? Я сказала: рада, что вижу

маменьку. Все засмеялись, маменька, улыбаясь, взяла меня на руки. Я обхватила ее шею, крепко прижалась к ней и пуще прежнего зарыдала. Она стала уговаривать меня, предлагала гостинцев, но я от них отказалась и продолжала плакать, закрыв лицо руками... Мать решила, что я больна, и сказав: «посмотрите, как она дрожит», велела отвести меня в детскую и уложить спать. Я стала проситься опять к ней, но меня не пустили....

Мать нас мало ласкала, мало занималась нами, зато мы мало от нее и терпели; но свирепость, в которую иногда впадал отец, была для нас слишком ощутительна. В минуты своей раздражительности он колотил всех встречных и ломал все, что попадалось ему под руку. И бил ли он детей, или свою лягавую собаку, выражение лица его было одинаково — желание утолить свою ярость. Он вонзал вилку в спину собаки с таким-же злым спокойствием, как и пускал тарелкой в свою жену. Помню, раз мне и трехлетнему брату случилось испытать порыв его бешенства. Была вербная неделя; отец пришел откуда-то домой, спросил завтрак и выпил целый графин водки. В углу той же комнаты играла я с братом в вербы. Отец вздумал принять участие в нашей игре и предложил брату бить себя вербой, сказав: «увидим, кто больнее ударит....» Брат с восторгом ударил отца, но вслед за тем получил до того сильный удар, что вскрикнул от боли. Отец сказал: «Ну, теперь опять твоя очередь. Не плачь! на то игра: верба хлес,—бьет до слез!.... Но брат продолжал плакать, за что получил новый удар-за которым последовало еще несколько медлен-

ных, но не менее жестоких ударов. Отец славился своей силой: он сгибал в узел кочергу. Сперва я не смела вступиться за брата: о правах родителей я имела такое понятие, что они могут не только наказывать, но и убивать детей, а несправедливости я еще не понимала. Но вопли брата заставили меня все забыть: я кинулась к нему и заслонила его собою, оставляя на жертву отцу свою открытую шею и грудь. Ничего не заметив, отец стал бить меня. То умолкая, то вскрикивая сильней, я старалась заставить его прекратить жестокую игру, но он, бледный и искаженный от злости, продолжал хлестать вербой ровно и медленно.... Не знаю, скоро ли кончилась бы эта сцена и что было бы с нами, еслиб на крик наш не прибежала мать и не оттащила отца. Мы были окровавлены: мать, как я помню, в первый раз в жизни, прижала меня к сердцу, но нежность ее была не продолжительна: опомнясь, она велела мне итти в детскую и грозила наказать, если я осмелюсь еще раз без ее позволения играть в спальне. Отец молча ходил по комнате, как будто бы приискивая новую пищу своему бешенству. Наконец, он спросил еще графин водки, выпил весь, взял шляпу и вышел. Пронзительный визг собаки, попавшейся ему в прихожей, раздался по всему дому.

В такое расположение духа отец впадал обыкновенно от неприятностей по службе, неудач в волокитстве, ревности жены. Помню, раз он при матери поцаловал какую-то хорошенькую женщину. Я готова была кинуться на него, видя слезы матери, которая нисколько не скрывала своего гнева; отец ушел в бешенстве, вместе с гостьей.

Между тем, семейство с каждым годом прибавлялось. Родители признали нужным для нас воспитание и заставляли нас сидеть за столом с книгой по два часа в день. Учение наше не простиралось далее затверживания басень с нравоучениями в роде: «раскаяние не помогает», и некоторых молитв, в которых мы ни слова не понимали. Но ими ограничивалась вся наша религия.

Мы очень часто старались определить себе, что такое чорт, которого мы ясно видели но ночам или в темных комнатах, благодаря нелепым рассказам нянек и кормилиц; с расспросами о нем мы прибегали к тетушкам, которые, нельзя сказать, чтобы тоже пользовались жизнию и свободою, а потому нам не мало доставалось и от них: недовольные матерью, они вымещали свой гнев на нас. Ответ на наши распросы был обыкновенно короток и выразителен: «прочь! надоели! выдеру уши», и часто любознательный возвращался с красными ушами, чтобы снова принять участие в прениях о чорте...

Никаких книг, кроме азбуки, я не видала, потому сказки кормилицы казались мне чем-то необыкновенно-привлекательным. Если герой или героиня страдали, то мы плакали и просили кормилицу сделать их счастливыми, обещая ей за то сухарей. Сухари играли между нами роль ходячей монеты. Нам давалось в день по четыре сухаря, и они составляли единственную собственность, бывшую в полном нашем распоряжении. Но мне не редко приходилось заменять сухари своими куклами, потому что меня беспрестанно оставляли без чаю. Торговля у нас

процветала: даже личные оскорбления выкупались сухарями. Раз, раздраженная насмешками и разными выходками старшей сестры, мешавшей мне играть, я увлеклась гневом и, пренебрегая последствиями, ударила ее в лицо. Оскорбленная с радостию бросилась к двери и угрожала пожаловаться отцу, который в таких случаях жестоко наказывал виновную, не разбирая причин, заставивших прибегнуть к такому сильному средству. Зная, что могу откупиться, я была спокойна и предложила сухари. Но на этот раз сестра, по чувству оскорбленного достоинства, отвергла такой обыкновенный выкуп и предложила мне следующее условие: «подавать и убирать ее игрушки, когда она прикажет, в продолжение пяти лет». Я приняла условие, рассчитывая на его нелепость, но ошиблась в расчете. Последствия были печальны. Не знаю почему, жалобы и оправдания мои не имели никакого весу не только у старших, но даже у братьев и сестер; самые младшие могли безнаказанно рвать мои куклы и платье, щипать и толкать меня, проходя мимо, не потому ли, думала я, что я очень черна, но старший брат был также черен, однакож не страдал от своей черноты, напротив, даже пользовался некоторым весом, по своей силе и упрямству. Сестра нарочно принаровляла свои приказания так, чтобы беспрестанно отрывать меня от моих кукол. Наконец однажды терпение мое лопнуло: я отказалась исполнять ее приказания. Она побежала жаловаться тетеньке.

Тетенька находила особенное удовольствие наказывать меня. Угрозы градом посыпались на мою черную голову. Но я не смутилась и наот-

рез объявила, что «уж довольно: целые три года я была дурой, и слушалась сестру, а теперь больже носить ей игрушек ни за что не буду....» Уши, мои бедные уши всегда страдали первые! Тетенька за ухо повела меня в угол; я начала плакать и жаловаться, но дорого заплатила за свое сопротивление: объявили, что не дадут мне есть целую неделю. Меня так часто оставляли без чаю, без обеда, без ужина по целому месяцу, что такое наказание обратилось мне в привычку, и я страдала только в таких случаях, когда забывшись подойдешь бывало к столу и вдруг закричат: «а вы-то зачем? разве забыли, что вы сегодня без чаю!...» Тогда я злилась и плакала.... Раз меня оставили без пирожного. Тетенька вздумала подшутить надо мной при посторонних и сказала со злой усмешкой: «дай свою тарелку, я положу тебе пирожного!...» Я вся вспыхнула, но тотчас оправилась и отвечала, что доктор запретил мне есть это пирожное.... Ярость исказила лицо тетушки, она торжественно объявила гостям, что я бесчувственная: смею еще шутить, когда наказана, и прибавила, что мне нужно наказание посильнее. После обеда она привела в исполнение свою мысль....

Но за исключением этих маленьких неприятностей, до десятилетнего возраста мы жили весело и свободно, предаваясь играм без различия пола, потому что родители нас тоже не различали. Наказание розгами было в одинаковом употреблении как для мальчиков, так и для девочек. Не секли только старшую сестру, которая считалась смирной, умной, прилежной девочкой. Бывало, если у меня нет своего горя, я вступа-

лась за обиженного и за него получала наказание, но сестра ничем не трогалась, спокойно смотрела, как при ней обижают невинного и никогда не плакала....

Смерть бабушки положила конец золотым дням нашего детства—золотым, потому что скоро мы лишились и тех радостей, которыми при ней пользовались. Бабушка сделалась очень больна, и как ей было уже 60 лет, то она и не могла перенести трудной болезни. В один вечер больной сделалось очень дурно; нас всех уложили ранее обыкновенного, что всегда делалось в торжественных случаях. Не знаю как, но у меня достало духу спрятаться в темном углу комнаты, освещенной одной лампадой, и я видела, как рыдала дочь бабушки—тетенька Александра Семеновна; мать моя тоже плакала, но ее слезы совсем не походили на тетенькины и не трогали меня; отец был серьезен. Бабушка всех их благословила образом, простилась с ними и потребовала внучат, но мать сказала, что она может проститься с ними заочно. Больная не настаивала и, усилив голос, требовала, чтоб мать и отец поклялись перед образом не обижать сироту, которая рыдая лежала у ее ног. Мать что-то много говорила умирающей бабушке, та отвечала едва слышными вздохами и качанием головы, какбудто в знак благодарности,—и вдруг голова ее быстро наклонилась на бок. Отец оттащил громко зарыдавшую мать от постели и увел ее в другую комнату, оставив у ног почти уже мертвой старухи одну ее дочь.... Мне стало страшно, я бросилась в детскую, где было тихо и темно, мигом разделась и легла...

Утром нас разбудили повторяя: «вставайте, ваша бабушка умерла!» Я вскочила и прямо побежала в комнату, где накануне бабушка благословляла мать и отца, но остановилась на пороге как прикованная, оцепенев от ужаса: сморщенное и неподвижное тело омывали на полу две женщины, грубо вывертывая окоченевшие руки и ноги; лица я сначала не могла видеть, потому что оно было закрыто склоченными седыми волосами; но когда одна из женщин схватила волосы и откинула назад, чтобы их мыть, я узнала бабушку—чуть не вскрикнула от страху и убежала. Заметив мою бледность, стали спрашивать о причине:—«я видела бвбушку, ее моют какие-то женщины!»—отвечала я дрожа. Меня грозились наказать за любопытство, но за недосугом ограничивались угрозой. Когда я потом увидела бабушку, лежавшую на столе в белом чепце и капоте, то не могла понять отчего так сильно испугалась ее утром.

Почти все жильцы дома перебывали у нас посмотреть на бесчувственное лицо бабушки и на плачущую тетеньку. У гроба читал что-то в нос дьячек с маленькой косичкой, которого мы развлекали распросами и рассказами. Нежность матери к тетеньке от меня не укрылась: она при всех беспрестанно целовала ее, сажала возле себя и уговаривала есть. Мне было очень жаль тетеньку.... Наступил день похорон. Мы радовались, что нас повезут на кладбище, а решились взять нас потому, что не с кем было оставить дома.... Комната, где стояло тело, наполнилась народом. Заунывное пение причетников, странные взвизгивания матери стеснили мне ды-

хание, я также начала горько плакать. Началось прощанье: холодно и задумчиво подошел к гробу отец наш и поцаловал свою мать, которой очень редко приходилось видеть ласку сына при жизни; за ним с криками приблизилась маменька отдать последний долг женщине, потерпевшей от нее много горьких слез и унижения. Поцаловав бабушку, она начала биться, протяжно стонать и упала у гроба. Ее оттащили и принялись ухаживать за ней. Наступила очередь дочери, я думаю, единственного существа, любившего покойницу и имевшего право на последний поцалуй. Тихо рыдая прильнула она к посинелым губам своей матери, потом к глазам, потом опять к губам,—и долго бы оставалась в таком положении, еслиб отец не оторвал ослабевшую сестру свою от покойницы и не передал ее на руки скучавших родственников. Наступила наша очередь, и я от тяжелого впечатления дрожала вся и рыдала, цалуя в последний раз бабушку. За нами последовали с постными лицами родственники и посторонние, за ними прислуга. Вдруг наступило молчание, никто уже не подходил прощаться, но как-будто невольно медлили накрыть гроб. Священник спросил: — все-ли простились с усопшей?—Ответа не было и он сделал рукою знак. Когда наложили крышку на гроб, мне сделалось так тяжело и душно за бабушку, как-будто меня заколачивают вместе с ней,—и первый удар молотка до того потряс меня, что я закрыла руками лицо и заплакала. Не знаю, долго-ли я плакала, но меня вывел из этого состояния брат, который толкнул меня и сказал: «Наташа, беги скорей в карету! А то опоздаешь, останешься

одна дома!» Испуганная, я побежала за ним из комнаты.

Медленный поезд за гробом закачал меня, и я очень сладко заснула. Когда же нас высадили из кареты, я тотчас побежала в поле, которое увидела теперь в первый раз в жизни. Я собирала цветы и разные мелкие травки, бегала за бабочками и даже одну поймала, что доставило мне неописанную радость; потом я сжалилась над ней и дала ей свободу лететь, но бедная бабочка тоскливо била крыльями и вертелась у меня на руке,—тут только я заметила, что по неосторожности сломала ей одно крылышко.... Я готова была плакать, как вдруг услышала пение, которое напомнило мне, где я и зачем я здесь. Я бросила бабочку и как стрела пустилась на встречу пению. Запыхавшись я примкнула к шествию, и мы вошли в сад с каменными куклами, как мне тогда показалось. Процессия остановилась у приготовленной могилы. Мне бросился в глаза червяк, длинный, предлинный, который вертелся с необыкновенной быстротой на взрытой земле. Я начала вглядываться и увидела множество червей, которые отчаянными усилиями старались выползти из земли, чтобы вновь с быстротой в нее же скрыться. Вдруг меня кто-то дернул за платье, я обернулась и увидела двух безобразных, морщинистых старух в черных салопах странного фасону и в черных платках.

— Кого это хоронят, из ваших, что-ли?

— Да, это мою бабушку хоронят.

— А которая ваша маменька, полная или худая?

— Нет, полная.

— Ах, она, моя голубушка! Как хорошо плачет! Что ж, это ее мать умерла?

— Нет, та бабушка жива.

— Так это она, моя родная, плачет о чужой матери?

— Как о чужой? Она бабушка.

— Так она этой худой-то мать?

— Да, это наша тетенька.

— А кто ваш отец?

— Мой отец?—И я приостановилась.—А вот показался, вот он!

— Нет-с, мы хоим знать, где он служит?

— Он музыкант.

— Что? — спросила одна старуха. — Му-зыкант?

Старуха произнесла это слово очень протяжно; я повторила им: музыкант!

— У твоей бабушки были деньги?—снова спросила старуха резким тоном. Мне показалось странным, что она вдруг начала называть меня «ты». Я отвечала холодно:

— Какие деньги?

— Ну, оставила ли твоя бабушка денег твоей тетке?

— Нет!

Я сказала это на зло старухам, сама не зная, были деньги у бабушки или нет.

— Ах, она бедная! Сирота без отца, без матери!

Тут обе старухи принялись вздыхать и соболезновать о горькой участи сироты. Но они скоро замолкли, обратив внимание на суету, происходившую в процессии. Начали опускать гроб в мо-

гилу с криками, плачем и пением. Я не могла без отвращения подумать, что бабушку оставят одну в земле и с таким множеством червей.... Начали бросать землю на гроб. Мать моя довольно трагически бросила свою горсть земли в могилу, потом она взяла тетеньку за руку и отвела ее от могилы, сказав: «полно, полно, теперь уж все кончено!» Тетенька в первый раз вскрикнула и упала на грудь маменьки. Я видела эту сцену и плакала, а когда тетенька упала, я хотела обежать могилу, чтобы стать к ней ближе, но одна из старух схватила меня за руку и сказала:

— Что же ты не бросила земли своей бабушке? Видишь, все бросают!

— Оставь меня! Я не хочу бросать червей в могилу к бабушке.

— Вот! Не все ей равно — одним больше, одним меньше!—подхватила другая старуха с отвратительным смехом.

— Если не бросишь, так твоя бабушка сегодня-же ночью придет к тебе в саване и...

Не дослушав страшных слов старухи, я в испуге бросила в могилу цветы, вырвала свою руку и побежала за матерью. Старухи провожали меня смехом, похожим на воронье карканье.

Прибежав к церкви, я была тотчас втиснута в карету, уже наполненную братьями и сестрами. Мать спросила у сидевшей с нами девушки: «все-ли тут?» та отвечала: «все-с», и потом уже начала пальцем считать нас; по счету оказалось восемь, то есть ни больше, ни меньше того, сколько нас было... Мы двинулись, но, сделав несколько сажень, карета должна была остано-

виться. На встречу несли маленький гроб; за ним в изнеможении, спотыкаясь, бежала бледная женщина. Она ломала руки и кричала, какбудто желая остановить шествие. В первый раз в жизни видела я такое сильное отчаяние и очень удивилась, как можно так горько плакать о маленьком ребенке, вспомнив смерть своей сестры, о которой никто не плакал. Маменька кстати поспешила меня вывести из затруднения своим замечанием. «Вот дура! О чем плачет», сказала она вслед рыдающей женщине.—«Какой клад потеряла. Видно первый! Дала бы я ей столько!...» И тут она выразительно показала головой на нашу карету, и потом сердито закричала нашему кучеру: «болван! Что стоишь?» Кучер вздрогнул от неожиданного приветствия, и, как через электрический удар, его испуг разрешился на костлявых боках лошадей, которые вздрогнув в свою очередь, благополучно двинулись после двух или трех отчаянных усилий.... Дорога показалась мне очень коротка; каждый из нас рассказывал свои впечатления и похождения на кладбище: кто говорил про червей, кто про покойников, которых было в тот день довольно много.

Мы приехали домой. Комнаты наши совершенно изменились. Вместо гроба я увидела длинный стол отягченный разного рода бутылками. Гостей было очень много; скоро все уселись за стол, кроме детей, которым не оказалось места, потому что за наш стол усадили дьячков. Начали подавать кушанье.

Тишина воцарилась страшная, так что я выглянула из другой комнаты, чтоб узнать, не опять ли хотят заколачивать гроб бабушки. Но

меня успокоили довольные лица гостей, вместо гроба—бутылки, вместо запаха ладона—приятный запах ухи и огромной кулебяки. Обедали много и долго, так что мне даже стало скучно смотреть, как все жуют да жуют, а медленное покачивание отуманенных голов наводило на меня уныние...

Несмотря на трехдневный страх, я провела время похорон приятно, потому что я в первый и последний раз в моем детстве чувствовала себя свободной, вероятно, по той причине, что никто не думал о моем существовании....

ГЛАВА II.

Нежность маменьки скоро истощилась: она в тот же день простилась с тетенькой Александрой Семеновной очень холодно, а утром сердилась на нее за беспорядки в кухне и детской. Тетенька, не дожидаясь шести недель, вступила в права наследства, которое состояло из образа, старого салопа и двух пуховых подушек. Взамен нежности и участия, маменька дала ей неограниченную власть в детской и ограниченное управление в кухне.

Скоро произошли у нас большие перемены. Мать нашла излишним видеть детей в зале и в своей комнате, потому вход туда был нам запрещен под строжайшим наказанием. Даже десятилетний обычай был отменен: мы более не прощались с отцом и с матерью. «Дети,—говорила она, — и без того надоедят в течении дня, да и здоровье не позволяет мне возиться с ними!» И, может быть, для поправления расстроенного здоровья, она просиживала не только целые дни, но и ночи на пролет за картами. Страшно было приближаться к ней иногда; ночь без сна, значительный проигрыш до того раздражали ее, что она нередко сама отменяла утреннее цалование руки, страшась за последствия. Отец был недоволен страстью жены своей к картам. Частые

ссоры из-за денег больше и больше ожесточали маменьку против детей. Для успокоения своей совести, она даже принялась вести счеты, из которых отец ясно мог усмотреть, что страсть к игре стоит ей какие-нибудь сотни в год, а на детей идут тысячи. В самом же деле было наоборот. Утро было особенно тягостно для всех в доме. Повара бранили за то, что он не умел сотворить чуда—накормить двадцать пять человек тем, что едва доставало для десяти. Тетеньке доставалось за все: за неисправность прислуги, за то, что гости выпили много вина, за детей, которых она в тот день не видала в глаза; словом, мать кричала и наказывала не по мере надобности, а по мере проигрыша... По какому-то предопределению, я всегда попадалась под первые порывы ее раздражительности. Раз, заметив меня в зеркало, перед которым тетенька чесала ей голову, она потребовала меня читать по-русски. Чтение началось; за каждую ошибку я получала толчок то в голову, то в спину. Слезы мешали мне читать, и я как на зло делала ошибки на каждом слове. В бешенстве она, наконец, ударила меня так сильно по руке, лежавшей на книге, что книга полетела вверх, а рука моя хрустнула и как гиря спустилась вниз. Я взвизгнула и побледнела от боли.

Отец явно обрадовался горячности своей жены: он сам был удален от управления домом и детьми за свою вспыльчивость, а притом теперь ему представился случай попрекнуть жену страстью к игре, производящею такие последствия. Он начал осматривать и вытягивать мою руку; я горько плакала... Наконец, он велел мне

итти в детскую, я пошла, освободившись таким образом от чтения, но боль не помешала мне уходя слышать их разговор:

— По вашему ей не нужно учиться читать...

— Да что ж за толк, если ты выучишь ее читать, а писать ей будет нечем.

Тут мать начала говорить очень скоро, и когда я подходила к детской, разговор их превратился в крики и слезы.

Этот-то роковой случай решил нашу участь. Родители положили нанять нам гувернантку. К несчастью, случай скоро представился. Одна знакомая дама отказала своей гувернантке за излишнюю грубость с детьми. Несмотря на страшное стеснение корсетом, которому подвергалась добровольно, с примерным самоотвержением, эта двадцати-четырех-летняя девица, говорившая, что ей двадцать один год, любила в обращении с детьми полную сволоду: уши бедных малюток были всегда в крови; она нарочно отращивала себе средний ноготь и стригла его остроконечно, чтоб невинное наказание было чувствительней. Если корсет мешал ей поднять высоко руку, то она приказывала жертве становиться на колени, тянула за ухо или за волосы к верху и требовала, чтоб жертва приседала вниз. За ослушание наказание увеличивалось. Она брала линейку и делала наперед такое условие: если хорошо будешь подставлять ладонь, получишь десять ударов, если станешь хитрить — двадцать.

Примерная строгость и одинаковый взгляд на воспитание покончили дело очень скоро: она была нанята за четыреста рублей ассигнациями

в год, учить всему, чему хочется, смотреть за нравственностью как заблагорассудит, наказывать сколько душе угодно и как угодно; даже ей представлялось право, если окажется нужным, требовать на помощь лакея, при наказании братьев, которые были довольно сильны... Для представления гувернантке нас вымыли, вычесали и приодели. Меня представили как лицо подозрительное, требующее неусыпного надзора и особенной строгости, выражаясь так:

— Она совершенный мальчик, даже все с ними играет, а уж какая ленивица! Как за книгу, так и в слезы!

Гувернантка успокоила мать надеждой на мое исправление, сказав мне:

— M-lle Nathalie, вы должны исправиться, а не то я буду наказывать вас вместе с мальчиками.

Физиономия гувернантки никому из нас не понравилась. Ее рыжие волосы были убраны с необыкновенной тщательностью, ее карие и злые глаза то быстро перебегали, то останавливались на одном предмете, как бы желая проникнуть его насквозь; ее большой рот беспрестанно улыбался, что придавало ее большому и круглому лицу, поминутно краснеющему и покрытому бесчисленным множеством веснушек и каким-то белым порошком, выражение злое и приторное. Талия ее превышала всякое вероятие: она была до того стянута, что ее плечи, довольно толстые и широкие, изобильно покрытые коричневыми веснушками, совершенно багровели и уподоблялись кускам сырой говядины.

Костюм ее был также неприятен, как она сама. Ее руки, белые и мягкие, были обезобра-

жены синими ногтями и бесчисленным множеством колец и перстней, в которых, по тщательному разысканию одной из тетушек, изумруды и рубины оказались поддельными. Впрочем такое открытие нисколько не помешало их дружбе; разные секреты и одолжения по части туалета совершенно погасили на время враждебные ощущения, возникшие в тетушках по поводу французского языка, знание которого составляло преимущество гувернантки. Мы заметили, что лица у тетушек также вдруг побелели...

Что касается до нас, то прежде всего мы превратились из Сони, Кати, Наташи—в Sophie, Catherine, Nathalie, а братья—в Jean, Michel и т. д. Тетенек гувернантка называла ma chère; они начали называть ее тоже ma chère.

— Ma chère Catherine надо сегодня наказать.

— Хорошо, ma chere, я оставлю ее без гостинцев, которые сегодня обещаны.

Наказания были так расчитаны, что гувернантка и тетушки всегда получали двойную порцию пирожного или дессерта. Нам же приказано было звать гувернантку: Mademoiselle. Во французском языке мы оказали быстрые успехи: Permettez moi sortir,—pardonnez-moi—последнее я очень скоро заучила.

Нашу свободу еще больше стеснили. Детей всех заключили в одну комнату: другая, смежная с ней, превратилась в классную, в швейную, в спальню трех тетушек и гувернантки и в столовую. (Нужно заметить, что ни мы, ни тетеньки за общим столом со смерти бабушки не обедали). Входить туда в неклассные часы нам

запрещалось... Комната, куда нас запрятали, была очень мала для восьми человек детей, что однако не помешало сделать в ней антресоли, куда складывали грязное белье со всего дома, разный хлам, детский гардероб, очень непышный. Но взамен его там поместилось такое множество тараканов, что в комнате никогда не могла воцариться полная тишина: как скоро шум смолкал, явственно слышался глухой таинственный шорох, напоминавший поэтическое трепетание листьев, колеблемых ветром. Горе забыть там что-нибудь съестное, тотчас все пожиралось хищными усачами... С самого дня рождения ребенка, кормилица поселялась с ним на антресолях, в обществе прачки, имевшей обычай напиваться до чортиков. Мать шесть недель не видела ребенка, ссылаясь на то, что перемена воздуха для ребенка вредна; а ей взбираться вверх по лестнице не позволяет здоровье... Дочерей она особенно не любила, рассуждая так:

— Мальчик подрос,—и с глаз долой, а девчонку держи, пока замуж не выйдет, да кто и возьмет-то? У отца ничего нет, а уж на лицо никто не польстится... И не знаю, в кого они такие родятся? Отец не дурен, мать кажется...

Тут она останавливалась, давая время договорить какой-нибудь знакомой, нуждавшейся в ее помощи. И когда та замечала, что:—Вы матушка, Марья Петровна, можно сказать королевна, и уродись в вас дочки-то ваши, их бы с руками оторвали без приданого,—она заключала:—да-с, нечего сказать, наградил бог уродами... Если-б вы видели, какие у них ноги... ужас! По крайней мере с мои...

Надо заметить, что у самой у ней ноги были чрезвычайно огромны и безобразны, и потому, говоря о ком-нибудь, она обыкновенно начинала с ног, нападая на них с непомерным ожесточением, особенно если они были недурны, а потом уже доходила до головы; вообще она не любила пропускать ничего, перебирая недостатки своих дочерей с таким наслаждением и восторгом, как иная, нежно любящая мать говорит о достоинствах детей своих, не пропуская ни одного самого незначительного и даже в избытке горячности изобретая небывалые... Если кормилица сходила вниз, то ей выговаривали, зачем она толкается по всем комнатам, и запрещали сходить вниз без зова.

Само собою разумеется, что при таком порядке вещей за больными детьми ухаживали очень плохо.

Раз в зимний вечер мы сидели на антресолях, освещенных ночником, устроенным в помадной банке, куда налито было постное масло с поплавком. Стоны больного ребенка, смешанные с разным бредом тут же спавшей прачки, невольно заставили нас прекратить игру в дурачки и заговорить о больном брате.

— Что если он умрет... Ведь будет страшно сидеть на антресолях...

Вдруг раздался в углу на кровати какой-то странный крик; вздрогнув, мы оглянулись и видим прачку, которая с растрепанными короткими волосами, с бледным лицом, вся дрожа, приподнималась с кровати. Мы испугались и назвали ее по имени. Она вскочила и, кинувшись к нам, закричала:

— Прочь, черти! вы хотите меня задушить!

С шумом и воплем мы побежали к лестнице, опрокинули ночник и не сбежали, а почти скатились вниз. На крик наш прибежали нянька и кормилица и, расспросив нас, отправились на антресоли. Там все было вверх дном. Подушки на полу, скамейка опрокинута, наши салопы на полу... Заглянули в люльку и нашли брата в страшных конвульсиях. Через пять минут страдания его прекратились. Бедного ребенка, вероятно, испугали...

Мать сидела в то время за картами и когда ее известили о смерти сына, она, к общему удивлению, начала кричать и плакать. Приказано было как можно скорее хоронить ребенка, потому что сердцу матери зрелище смерти родного детища еще тягостнее его страданий... С воплями удалилась она к себе, но не надолго... На другой же день к вечеру ребенка похоронили очень просто и тихо, и если над ним проливались слезы, так разве слезы сестер и братьев, поссорившихся за какую-нибудь игрушку и поколотивших друг друга. Похороны происходили обыкновенно таким образом нанималась карета; приходили докладывать отцу и матери, не угодно ли им проститься с телом. Мать переносила такие тяжкие минуты с удивительным спокойствием, делающим честь ее твердости, оканчивала сцену очень скоро. Она подходила к гробу, крестила ребенка и небрежно целовала его в лоб, говоря: «Бог с ним! не о чем плакать; довольно еще осталось!...» Впрочем она могла бы и вовсе не произносить утешительных слов, потому что на лицах присутствую-

щих ясно выражался запас мужества, достаточный для перенесения такой утраты. Отец, не любивший сидеть дома, не всегда бывал при выносе тела.

Таким образом, умерло и схоронено три сестры и один брат...

. . . .
. . . .
. . . .

ГЛАВА III

Гувернантка очень скоро обнаружила систему воспитания, совершенно согласную с требованиями наших родителей, и тем заслужила полное их расположение. С ее вступления детского смеха вовсе не было слышно, а наши беспрестанные слезы доказывали, что люди, которым нас вверили, неусыпно пекутся о нашей нравственности и спокойствии родителей... Дух угнетения был сильно развит в гувернантке; может быть она хотела применить к делу систему тираннии, в которой сама была воспитана,—и нельзя сказать, чтоб семена упали на бесплодную почву. Никакая шалость не ускользала от ее зорких глаз; с непонятным терпением разыскивала она преступника, и если ей не удавалось открыть его по разным признакам и допросам, она покорялась воле судьбы и равно наказывала правого и виноватого. Случалось, меньшие братья, запуганные угрозами и толчками, выдавали старших: тогда наступил для нее истинный праздник... Но средства не всегда позволяли ей удержаться до конца на приличной высоте. С величием объявив приговор, она иногда сама нисходила до роли палача... Потом из палача она превращалась, в нашего шпиона, но иногда дорого платилась за унизительную роль

свою: заметив с антресолей ее приближение, мы старались завлечь ее нашими разговорами, спрашивая друг друга: что будет на том свете тому, кто подслушивает?—«Сожгут на медленном огне».—Нет, колесуют.—«Вытянут жилы». И потом на голову гувернатки лилась вода, летела целая туча пуху из распоротой подушки... Разумеется, удача сопровождалась хохотом, который выдавал нас догадливой наставнице. Стыд мешал ей приступить тотчас к расправе, но при случае мы дорого платились ей за минутное торжество. Впрочем, старшие сестры розгам не подвергались. А брат Миша часто избегал наказания своей отвагой и силой. Если ж удавалось его наказать, он всячески мстил гувернантке и тетушкам, к неописанной нашей радости, грубил им, смеялся над ними,—так что наконец они стали его бояться и избегали с ним ссор... Я же и остальные братья расплачивались за всех, подвергаясь всевозможным наказаниям, без границ и разбору. Расправе обыкновенно посвящался седьмой день; между виновными кстати наказывались и невинные в зачет будущих преступлений...

Прочитав молитву, мы садились за ученье в девять часов утра; в час ученье оканчивалось: приносили завтрак, которого мне почти никогда не приходилось попробовать. Я была охотница передразнивать и передразнивала так удачно, что, застав меня врасплох, тотчас догадывались, кого я хотела представить, а иногда гувернатка, любившая доказывать свое усердие числом наказанных, ни с того, ни сего обращалась ко мне и извещала, что я сегодня без завтрака. В уте-

шение себя я отвечала вполголоса, что «сама не хотела есть», а пришед на антресоли, брала квасу, хлеба и соли и наедалась из опасения, чтоб не оставили еще и без обеда. И часто опасение мое оказывалось основательным...

После обеда часа в четыре мы снова садились учиться. Во время класса учить уроков нам не позволялось. Мы писали по диктовке, а всего чаще читали священную историю. Один читал вслух, остальные слушали. Время от времени гувернантка неожиданно приказывала продолжать другому, и малейшее замешательство влекло за собою строгое наказание. Виновному приходилось выстоять на коленях весь класс, продолжавшийся до семи часов... Гувернантка сама тяготилась продолжительностью классов, потому что не легко самому гениальному наставнику занять детей часов десять в сутки; но маменька, предоставив нас в совершенное распоряжение гувернантки, одного строго от нее требовала взамен беспредельной доверенности—ежеминутного пребывания при детях... В будни она решительно не позволяла ей выходить со двора, а тетеньки как два дракона стерегли нашу наставницу. Если она кончала класс десятью минутами раньше, они делали ей замечание и грозились сказать маменьке...

Гувернантка любила военных и так сильно, что решительно не могла противиться своей страсти. Заслышав полковую музыку, завидев офицерские эполеты, она тотчас бросалось к окну. Иногда офицер, вероятно не подозревая в ней наставницу стольких детей, делал ей ручкой,—тогда она возвращалась к столу вся красная и

долго не замечала беспорядков, возникших в ее отсутствие... Но тетеньки, которые постоянно сидели в той же комнате и потихоньку за нами поглядывали, тотчас всё ей пересказывали, язвительно намекая на ее слабость к офицерам. От намеков дело доходило до колкостей, за которыми градом сыпались взаимные упреки: притиранья, кокетство, виды на замужество, тайные помыслы и невинные хитрости,—ничего не забывалось в такие минуты. Крик был страшный—говорили все вместе—движения резкие, странные. Чтение прекращалось: мы слушали с напряженным вниманием, но к великой нашей досаде являлась тетенька Александра Семеновна и разнимала разгоряченных дев... Но долго еще, время от времени, перекидывались они ругательствами и злобными взглядами. Так после сильного пожара из почерневшей массы вдруг взовьется пламя, осветит на минуту страшное разрушение, а там опять все покроется мраком, до новой вспышки пламени в другом месте...

В такие дни мы могли шалить и грубить тетушкам безнаказанно; гувернантка даже поощряла нас. Впрочем примирение их совершалось очень скоро и просто, без всяких объяснений и извинений. Они знали, что не остались друг у друга в долгу, и, наскучив молчать и дуться, тотчас возращались к любимым своим разговорам, секретам и планам, и снова дружно соединенными силами преследовали детей...

Тетенька Александра Семеновна, запятая по хозяйству, не имела времени участвовать в наказании своих племянников и племяниц... да вероятно, и не хотела: она была добра и кажется

любила нас... Но сестры матери не могли не ожесточиться против ее детей: сидячая жизнь, заключенная в одной комнате, чуждая всякого разнообразия, вечное шитье, вечные сплетни,— такая жизнь может ожесточить даже самых кротких девиц, а тетушкам было уже за 25 лет, и надежда на замужство согревала их сердца с каждым днем слабее. Правда, по праву старого знакомства, к нам в детскую ходили мужчины, но до того бедные и жалкие, что даже тетеньки не решались на них рассчитывать. Исключение осталось только за молодым человеком, по имени Кирилом Кирилычем. Высокий, худощавый, с длинным носом, с красным лицом, с глазами кролика (за исключением простодушного выражения), с длинными белокурыми волосами,—он не отличался особенной красотой, но ловкость, любезность, хорошее состояние с избытком заменяли недостаток красоты. Сердца тетушек, и без того легко воспламенявшиеся, запылали... Даже маменька оказывала Кириле Кирилычу особенное внимание, которое не укрылось от ее сестриц и гувернантки, а следовательно и от нас: мы с своих антресолей постоянно наблюдали кокетство тетушек и гувернантки и подслушивали их дружеские разговоры, в которых мы играли важную роль. Каким образом?.. В стене над печкой, почти под самым потолком, открыли мы маленькую щель, понемногу я сделала из нее отверстие в роде слухового окна и, забравшись в промежуток между печкой и потолком, не только слушала, но и все видела, что делали в другой комнате наши враги... Мы довольно долго наслаждались нашим изобрете-

нием, употребляя иногда выражения, подслушанные у тетушек, которые в таких случаях быстро переглядывались, спрашивая глазами друг друга: «откуда они все это знают?» Но наконец наблюдения наши прекратились, и очень печальным образом.

Раз как-то, отправляясь на печку, я неосторожно подняла пыль, которая предательски бросилась мне, в горло и в нос, как будто желая отмстить за нарушение ее спокойствия. Я крепилась, жмурилась, но к ужасу моему вдруг громко чихнула. Говор затих внизу,—я могла бы еще спастись, но к несчастью одним разом не кончилось: я чихнула еще, потом еще и когда наконец я успела освободить из засады половину своего тела, мне уже не пришлось заботиться о другой: за меня трудилась гувернантка, которая впилась в мои уши как бульдог. Я очутилась в детской, окруженная яростными тетушками, которые хором бранили меня. Когда первый порыв негодования прошел, гувернантка поставила меня на колени, приказав не давать мне ни чаю, ни ужина, а между тем я в тот день была без обеда и очень расчитывала на ужин. Спать меня также не отпустили; я простояла на коленах до двух часов ночи. Наконец гувернантка отпустила меня спать, пообещав завтра новое наказание. С мучительной болью я встала с колен и насилу дошла до детской; здесь царствовала тишина, братья и сестры крепко спали... Мне стало тяжело, рыдания мои разбудили брата Ивана. Он достал из под подушки кусок хлеба, тихонько сунул мне его в руку и сказал: «ешь поскорее, Наташа!

пожалуй, рыжая опять придет нас обыскивать!»

— Как же ты, Ваня, спрятал его?

— Я его положил себе в сапог. Ведьма пришла нас обыскивать, не спрятали ли мы чего-нибудь для тебя; но осталась с носом. Понюхала, слышит: пахнет где-то хлебом, а где?—не может найти.

— Неужели не догадалась?

— Нет, надул проклятую: всю постель перешарила, велела мне встать... Зато ее Миша славно толкнул; знаешь, будто со-сна: я говорит, испугался, сам не помню, что сделал.

— Меня завтра опять будуть наказывать.

И я заплакала.

— Не плачь, Наташа, она завтра забудет.

И после такого утешения, которому сам нисколько не верил, брат заснул. Я была не так счастлива, и, кончив хлеб, смоченный моими слезами, я очень долго не могла заснуть, а во сне во второй раз вытерпела все, что было со мной наяву...

Дни шли, Кирило Кирилыч все более и более приобретал вес в нашем доме. В туалете маменьки произошла разительная перемена, волоса ее причесывались гораздо тщательнее, раз в неделю она добровольно подвергала себя пытке, то есть выдергиванию из своей головы седых волос, едва начинавших показываться. Свежесть лица ее стала удивительна, чему способствовало то растение, которое впоследствии произвело переворот в сахарном производстве. Ее талия, наслаждавшаяся уже четырнадцать лет свободой, вдруг была заключена в корсет, халаты замени-

лись платьями, в зале появились даже пяльцы, за которые она прежде не садилась ни разу в жизни. С первого взгляда она могла показаться красивой: высокий рост, умеренная полнота, придающая женщине в известные лета особенную привлекательность, лицо небольшое, нос прямой, рот довольно хороший (пока она молчала), зубы необыкновенно белые и ровные, наконец—редкость у женщин, даже красавиц—горло прекрасной формы, в красоте которого она могла бы поспорить с Марией Стюарт; словом, все в ней было не дурно. Одни глаза нарушали гармонию ее лица; небольшие, вечно тусклые и строгие, они бегали быстро, и улыбка никогда не отражалась в них, как-будто они были созданы для одного гнева. Впрочем этот недостаток, кажется, не слишком поражал, потому что ее вообще находили очень красивой женщиной, в чем она, кажется, была больше всех уверена. В манере ее кокетства ясно выражались грубость ее натуры и необразованность: оно состояло в неприятном и часто неуместном смехе, кривлянии рта и резких движениях.

С некоторого времени все в доме подчинилось Кириле Кирилычу; обед, чай, даже карты,— все зависело от его вкуса и расположения. Маменька сама начала заказывать обед, говоря так: «Сашенька, прикажите сделать такое-то блюдо, Андрей (то есть ее муж) очень любит его... А детям можно разогреть что нибудь вчерашнее. Отец очень часто обедал особо, гораздо раньше, смотря как позволяли служебные занятия, охота и бильярд. Не замечая ничего, что

делалось вокруг него, он казался совершенно посторонним человеком в доме и возвышал голос только за обедом, когда находил блюдо дурным. Если он входил в детскую, то единственно для птиц, которых развесил у нас в комнате клеток пять. И, глядя на его попечения о жаворонках, пеночках, канарейках, снегирях, нельзя было не признать в нем сердца любящего и нежного; с какой заботливостью заглядывал он в каждую клетку—вычищена ли она, есть ли корм и питье? как он сердился за малейшую неисправность на сестру Катю, которой поручил физическое благоустройство птенцов своих! и с каким примерным терпением сам он развивал в них душевные силы и таланты, насвистывая часа по два сряду на манер чижика или постукивая ножом в тарелку, чтобы подзадорить жаворонка!.. Радость блистала в его глазах, когда жаворонок наконец заливался пронзительным криком, вдруг почувствовав неистощимую нежность своего благодетеля и приняв твердое намерение щедро заплатить за нее. С неутомимой заботливостью отца многочисленного семейства, родитель наш чистил ноги своим жаворонкам; заметив томность в которой-нибудь из своих собак, вверенных также нашему присмотру, давал ей шарик из серы, а на другое утро никогда не забывал потребовать от нас отчета: лучше-ли собаке? Понятно, что ему уже не оставалось времени ни для чего другого! Иногда он отрывал нас от ученья, приказывая нам ловить мух и тараканов. В детской воцарялась глубокая тишина, нарушаемая только изредка радостными восклицаниями: «ах, какая жирная!» «ах, какой

черный!»... Отец, сидевший у стола в нетерпеливом ожидании полакомить птиц, говорил наконец:—довольно!... Мы подходили к нему, точно к какому-нибудь индейскому божеству с своими приношениями; оборвав ноги, крылышки и усы у наших жертв, печально жужжавших, мы клали их на стол. Опасаясь за здоровье своих птиц, отец очень сердился, когда замечал муху с ниточкой или таракана с красным сургучем. А таких попадалось довольно. За недостатком игрушек, мы, привязав к ногам мухи длинную ниточку, любили следить за ее полетом: муха летала без устали, пугала других мух и тем утешала нас в долгое классное время. А как, бывало, боялись мы, когда такая муха, вооруженная длинным хвостом, откуда ни возьмется, жужжа полетит по комнате и вдруг сядет на голову угрюмому и озабоченному отцу... что если он заметит?.. С тараканами происходила другая история. Вырезывалась из карт лошадь, под каждую ногу которой сургучем приклеивался прусак. Тоже делалось с бумажными гусями и утками, и часто целая стая таких невиданных зверей бежала с необыкновенной быстротой к щелям при радостных криках...

Ни товарищей у братьев, ни подруг у нас не было; помню только одну—дочь прачки, поступившей в нам после той, которая все пила. Ее звали Ульяной, а мы называли Улей. Она штопала чулки братьям и мыла носовые платки тетушкам. Я часто ей помогала, чтобы она могла поскорей итти играть с нами в куклы. Она учила нас разным песням. Мы хором затягивали:

«Заинька серенькой,
Где ты был, побывал?
Был, был, пане мой,
Был, был, радость мой...»

Посланная в лавочку, она возвращалась к нам запыхавшись и рассказывала, как ее обнял кучер. Я советовала ей бить таких грубиянов...

— Вишь какие вы, барышня!.. Они ведь сильные!

— Ну, так возьми вперед табаку, да и брось в глаза!—с жаром учила я Улю.

Она нам тоже рассказывала свои похождения: как раз, когда она жила в няньках, один чиновник предлагал ей банку помады, две пары бумажных чулок и два двугривенных.

— Ах, Уля, какая ты дура! зачем не взяла?.. Могла бы купить себе две куклы...

— Да, барышня, а матушка-то?..

— Она не узнала бы.

— Нет, барышня, узнала бы! Он все просил меня поцаловать его, а если мужчину поцалуешь—беда: все узнают.

— Отчего же?.. я сама видела, как тебя сколько раз Лука цаловал, а ведь ничего...

— Вы не знаете, барышня, что я хочу сказать!—отвечала таинственно Уля.

— Ах, скажи, голубушка Уля!

И мы ближе подвигались к ней. Она с важностью рассказывала нам, как одна ее приятельница взяла от кого-то подарок и как потом мать била ее и выгнала от себя.

— А почем-же она узнала, Уля?

Уля улыбнулась.

— Ах, какие вы глупые, барышни!..

Маменька стала по вечерам посещать детскую, благодаря Кириле Кирилычу, который иногда приходил побеседовать с тетеньками. Если он с ними шутил—маменька сердилась, если с нею—сердились тетушки; словом, между ними ладу никогда не было... Нельзя сказать, чтобы посещения маменьки улучшили наше положение: чтобы мы ее не беспокоили, гувернантка тотчас же укладывала нас спать; если же было еще очень рано, то расставляла нас по углам, и детская начинала походить на фамильный склеп, украшенный статуями. Маменьку нисколько не поражала могильная тишина нашей комнаты, и только при нашем нечаянно прыснувшем смехе она с удивлением спрашивала:

— Разве дети не спят?

— Нет еще,—отвечала гувернантка с гордостью:—они сегодня наказаны.

Маменька, обратив иногда внимание на своих детей, удивлялась, что они ростут как другие... В самом деле, мы крепли в борьбе и росли на славу...

Сестра Софья росла всех заметней и, несмотря на старания держать ее как девочку, начала обращать на себя внимание мужчин... Ей было 14 лет, а талия ее не знала еще прикосновения корсета, что может быть, способствовало ее скорому развитию. Коротенькое платье, вечно узкое, панталоны, которые иногда были шире платья и которых фасон, кажется, был взят с матросских, маленькая пелеринка, едва закрывавшая ее пышные плечи,—вот ко-

стюм сестры. Огромные волосы ее, расчесанные на две косы, доходили до колен, лицо отличалось необыкновенной свежестью, взгляд привлекательностью... Раз, когда я в зале держала маменьке шерсть, к ней пришла одна бедная дама и попросила ее крестить, объявив, что крестным отцом обещал быть Кирило Кирилыч. Увидав сестру Софью, которая в то время проходила через залу, дама сказала:—Ну, Марья Петровна! как ваша Софья Андреевна выросла, как похорошела! вот невеста, так невеста!

Маменька изменилась в лице и, пристально осмотрев свою дочь с ног до головы, с сердцем сказала:—Да что им делается, мать и отец трудись, а они только толстеют!

— Ну, Марья Петровна, не долго вам потрудиться для нее, я думаю Софье Андреевне уж есть у вас женишки на примете; чем не пара вот хоть Кирило Кирилыч? Слава богу, станет, чем прокормить жену и детей.

Удар в лоб, сопровождаемый словами: «гляди, спускаешь!» вывел меня из напряжения, с которым я слушала разговор; руки мои невольно опустились и (только тогда) моток действительно спутался. Маменька очень внимательно занялась его распутыванием...

Я все передала сестрам, но не долго мы трунили над Софьей, называя ее невестой Кирила Кирилыча: маменька, отговорившись слабым здоровьем, послала ее вместо себя крестить с Кирилом Кирилычем...

Зимой мы никогда не имели моциону, и еслиб сами тихонько не бегали на двор, где точно сорвавшись с цени прыгали, валялись

в снегу, кувыркались, то могли бы задохнуться от дурного воздуха в детской. Но летом, во время каникул, когда гувернантка отдыхала от тяжких трудов воспитания, мы два месяца наслаждались полной свободой: нам брали билет в один публичный сад; каждое утро нас отводили туда и оставляли без всякого присмотра. И если даже пойдет дождь и сделается буря, за нами не приходили раньше, чем следовало нам возвратиться домой... Братья наводили ужас на всех: лазали на деревья, на крыши беседок,— все рушилось, к чему они прикасались... Я очень часто принимала участие в их играх, обыкновенно разыгрывая роль жертвы, которую хотят похитить разбойники (то есть братья), а другие мальчики представляли казаков, которые иногда разгорячась не шутя начинали драться с разбойниками. Тогда жертва принималась разнимать... Но ни чем нельзя было убедить их; как петухи, отдохнув, они опять кидались друг на друга, и только изнеможение прекращало битву...

Быстро и незаметно пролетали два месяца; гувернантка возвращалась к нам еще требовательней, и опять духота и беспрестанная мука до нового лета. Но и редкие промежутки свободы и счастья скоро для нас кончились: на третий год сад закрыли, и с тех пор мы уже не гуляли и летом.

Зимой Кириле Кирилычу вздумалось танцовать, и детская наша превратилась в танцовальную залу; тетеньки пустились припрыгивать, сестры Катя и Соня тоже, гувернантка очень ловко вальсировала, с грацией образованной девицы. Меня, как меньшую, забраковали. В до-

саде, я принялась одна танцовать в другой комнате; наконец, научилась всему, чему учили сестер и тетенек, и даже успела передразнить всех, не исключая самого Кирила Кирилыча, который в танцах не имел соперников... Раз недоставало кавалера, меня вытребовали и хотели учить, но я с гордостью выказала свое знание и так удачно выполнила роль отсутствующего кавалера, что меня несколько раз заставили повторить...

Маменька, по желанию Кирила Кирилыча, обещала сделать бал в рождество... Настало и рождество, гувернантка уехала домой к своей матери, мы вздохнули свободнее, тетеньки гадали всякий вечер, но Степаниде Петровне никак не выходил жених... Раз она выбежала спросить первого прохожего: как зовут? чтобы узнать имя будущего своего мужа. Ей отвечали: Матрена! Она очень сердилась и аккуратно каждую ночь клала себе под подушку черного таракана, заключенного в аптечную коробочку, а на другое утро рассказывались бесконечные сны... Наконец день бала настал: дело было накануне нового года; мы радовались, что увидим наряженных и танцы, но к ужасу нашему утром явилась гувернантка вся в папильотках и тотчас успела кого-то лишить чаю и конфект. Суета была страшная: маменька сердилась и кричала, тетенька Александра Семеновна, как Фигаро, старалась всюду поспеть. Явились полотеры, и к нашему плачу и хохоту присоединилось визжанье и шарканье... Нас одели очень не хорошо: все было коротко и узко. Сестрам зачесали косы, что очень не нравилось гувернантке и тетушкам, и

только настойчивое ходатайство Александры Семеновны перед маменькой спасло прическу сестер. Маменька разоделась в-пух. Гувернантка поссорилась с тетенькой Степанидой Петровной за меня: все желали, чтоб я их одевала: так ловко стягивала я корсеты и платья, к чему никто другой в доме, по испытанной слабости сил не годился... Но гувернантка, по праву наставницы, решительно объявила, что не отпустит меня, пока сама не оденется... Начался ее туалет. Умывшись, она принялась возить по мокрому лицу своему красной суконкой, опускаемой по временам в пудру, с таким старанием, что я подумала, не хочет ли она с лицом своим сделать того же, что сделали полотеры с полом... Но, к удивлению моему, ее лицо все гуще и гуще покрывалось чем-то белым, наконец брови, ресницы, веснушки—все исчезло, и только из тучи инея блистали карие, злые глаза, жадно впиваясь в зеркало, перед которым я держала свечу. Гувернантка чем-то провела над глазом—резко обозначилась бровь, лицо стало кривое... Но вскоре все пришло в порядок: ресницы перестали напоминать человека, только что пришедшего с морозу, губы, помазанные розовой помадой, походили на два красных земляных червяка, растертые щеки как-то странно алели. Началась уборка волос: жидкие пряди их, почувствовав прикосновение раскаленных щипцов, жалобно запищали; с них сняли папильотки, и каждый волосок, взбитый до невероятности, образовал особую пуклю, так-что гувернантка превратилась в рыжую болонку. Тогда из комода явилась на свет толстая коса,

которую я держала, пока гувернантка мазала, расправляла и чесала ее; потом гувернантка привязала ее, искусно спутала со своей собственной тощей косой, пришпилила невероятным множеством шпилек, отчего голова ее на минуту стала похожа на забор, утыканнный гвоздями от воров, и наконец, устроив все как следует, улыбнулась, довольная своей роскошной куафюрой... Пока гувернантка пристально рассматривала в зеркале свое лицо, платившее ей тем же, я усердно вдергивала в корсет новые красные веревки, снятые с пучка перьев (никакие другие не выдерживали тяжкого испытания, нередко ослабевая и лопаясь в самые роковые минуты)... Гувернантка неохотно отошла от зеркала: ей повидимому очень нравилось лицо, таращившее на нее глаза с бесконечным упоением. Началось стягивание: я тянула ее с невероятным рвением, пока она чуть не разделилась на две половины; ее шея и лицо, несмотря на целую коробку истраченной на них пудры, побагровели... Надев бесчисленное множество юбок, она облачилась в белое кисейное платье с таким лифом, что еслиб не снурок, поддерживавший его на плечах, он непременно упал бы окончательно. Но снурок, впившись в ее пухлое тело, совершенно исчезал в нем: так была сильна мера предосторожности, внушенная скромностию! Окончив туалет, гувернантка отпустила меня к Степаниде Петровне, а сама приступила к украшению ушей и пальцев своих разными серьгами, перстнями и кольцами. Степанида Петровна и ее сестра, увидев гувернантку, пришли в такую ярость, что приняли ее наряд за

личное оскорбление и голосом сконфуженной невинности закричали: «Ma chère, нам стыдно будет за вас!..» Советы и упрашивания надеть «modestie» полились рекой, но гувернантка только получила новую уверенность в несокрушимой прелести своего наряда: она знала завистливых тетенек... Процесс туалета тетенек был тот-же, как и у гувернантки, с тою только разницей, что они не привязывали себе кос, которые у них были собственные. Турнюр тетушек значительно увеличился, а лифы они подшили так, что скромность гувернантки в свою очередь могла оскорбиться...

Не скоро вероятно кончился бы их туалет, если бы нечаянный аккорд музыки не возвестил, что пора. Все засуетились, заахали, гувернатка кинула в зеркало прощальный взор своему встревоженному лицу, и, собрав нас всех, готовилась двинуться в залу. Тетушки еще раз провели по лицу красной суконкой, отчего румянец ярко взыграл на их щеках, и тоже примкнули к нам... Мы вошли в залу, ярко освещенную; гостей уже было много. Увидев маменьку, великолепно разряженную, тетушки перемигнулись и пожали плечами, вероятно соболезнуя о заблуждениях своей старшей сестры. Начались танцы; точно на зло тетушкам и гувернатке, нас беспрестанно ангажировали,—даже одну кадриль я танцовала с адъютантом. Я сидела возле Степаниды Петровны, когда он подошел ангажировать... Степанида Петровна не сомневалась, что ее,—тотчас начала натягивать перчатки и даже немного привстала со стула, но задрожав рухнулась на него обратно, потому что я в ту минуту в ответ на

приглашение поспешно подала руку своему кавалеру... Я стала vis-à-vis ее... Она сидела как на иголках, кидая кругом грозные взгляды, предвещавшие что-то недоброе... А Кирил Кирилыч в то же время будто на зло маменьке любезничал с сестрами и все танцовал с ними... Маменька рассердилась и даже сказала: «не пора ли детям спать, а то они мешают». Тетушки и гувернатка только того и ждали: тотчас нам приказано было отправиться в детскую. Мы чуть не плакали, и гувернантка, вероятно опасаясь нашего покушения возвратиться в залу, лично присутствовала при нашем раздевании, и, отобрав у нас башмаки, а у братьев сапоги, заперла все к себе в коммод... Положение наше было ужасно. Говор, шарканье и музыка не только не давали нам спать, но томили и мучили нас... Когда ж до нас долетел визг и хохот масок, мы все разом, будто по команде, вскочили с постелей и кинулись к дверям залы... В одну секунду старшие заняли лучшие места, а младшие— кто с помощью стула очутился над головой, кто скорчившись приютился у ног старших,— и все жадно впились глазами в щель, сквозь которую выходила яркая полоса свету... Вдруг... о, ужас! Увлеченный эффектом зрелища, кто-то сильно налег на дверь... Дверь с шумом раскрылась, и мы попадали на пол залы, стулья тоже,—одна старшая сестра успела укрыться... Гости кинулись к нам, но, забыв со страху боль, мы в миг все разбежались и с сильно бьющимися сердцами кинулись на свои постели. Но быстрота бегства не спасла нас. Стулья распростертые в дверях, как руины свидетельствовали,

что здесь процветала жизнь; гувернантка не сочла нужным входить ни в какие распросы, прямо скомандовала нам всем встать с постелей; мы встали; прочитав краткую мораль, в которой обещала нас завтра оставить без чаю, без обеда и без ужина, она расставила всех по углам. Потом, заперев на ключ дверь в залу, она ушла через прихожую вновь предаваться упоительному вальсу. Такая мера лишила нас последней возможности наслаждаться праздником, так долго ожиданным... Единодушно, почувствовав угнетение, мы разразились проклятиями на гувернантку... Брат Миша кинулся к ее постели, все за ним и в минуту постель перевернута вверх дном; стащив на пол перину, мы били ее, топтали ногами, плевали на нее с таким остервенением, будто в наших руках была сама притеснительница. Утолив первый порыв злости, мы начали хладнокровно придумывать мщение. Посыпали сором и полили водой ее кровать, напускали в нее прусаков и других насекомых, подушками вытерли весь пол... Наконец, прикрыв все одеялом, мы успокоились, но брат Миша сказал, что еще ей мало: он придумал заманить ее в детскую и в темноте подставить ей «ножку». Мы приняли его выдумку с восторгом; он славился искусством подставлять ножку: как подкошенный колос падала его жертва! Мы погасили ночник, а маслом от него полили путь, по которому неизбежно приходилось проходить гувернантке. Миша притаился у двери. Мы, чтобы привлечь жертву, взялись за руки, составили круг и с неистовыми криками, визгом и свистом пустились скакать и

вертеться как исступленные; волосы наши развевались; почти неодетые, мы походили на диких, которые плясками готовятся к жертве. Родные звуки скоро долетели до слуха гувернантки; вырвавшись из рук своего кавалера, она кинулась в детскую,—мы уже тихо лежали в постелях, когда раскрыв дверь и сделав шаг за порог, она с визгом растянулась на полу... Мы едва дышали: некоторые из нас вскрикнули, будто с просонья... Люди принесли огня; гувернантка, кинувшись к свечке, дико и с ужасом начала осматривать свое платье, покрытое маслом, и чуть не заплакала... Несчастье это так поразило ее, что она лишилась теперь даже обычной своей догадливости... Сначала она пробовала разные меры, но скоро с горестью убедилась, что нет никаких средств исправить платье, а так явиться нельзя... Она разделась с отчаянием и чтобы чем нибудь вознаградить себя, приказала всем нам стать на колени возле ее кровати... Счастливые удачей, мы окружили ее с удовольствием. Она беспрестанно вертелась на своей кровати, музыка душила ее, она готова была отдать пол-жизни, чтобы снова явиться в залу, но платья другого не было, и она закрывала глаза, усиливаясь заснуть... Мы жалобно пищали на разные голоса: «mademoiselle, pardonnez-moi» и кажется, первый раз наши вопли, которые она прежде слушала с явным наслаждением, терзали ее. Она сердилась, запрещала нам просить прощения, но мы нарочно усиливали наш писк,—мы все пищали, один брат Миша странно хрипел, выговаривая: «pardonnez-moi». Наконец она потеряла терпение и отпустила

нас, пообещав расправиться с нами завтра. Мы улеглись, но долго еще шептались, передавая друг другу подробности нашего торжества. Гувернантка тоже не спала, долго кашляла и вертелась, от сильных ощущений бала или от последствий несчастного падения—не знаю; а может быть и наши переселенцы способствовали ее бессоннице. Мы же в первый раз в жизни заснули, безотчетно чувствуя в себе какую-то гордость и силу...

ГЛАВА IV

На другой день гувернантка все разузнала и всех оставила без обеда; брата Мишу она покушалась наказать построже; но он так погрозил ей отмстить, что она увидела невозможность бороться с таким врагом, и объявила маменьке, что не в силах справиться со старшими мальчиками... Мишу отдали в гимназию. Надев мундир, он стал еще высокомернее. На меня и меньших братьев даже нагнал страх: он беспощадно ломал нам руки, щипал и бил нас жгутом, а тетушкам и гувернантке грубил на каждом шагу... Успехи его в науках шли плохо, зато умел он делать коробочки, придумывать загадки, играть в три листа, чему и нас всех выучил. Еще любил он и легко заучивал стихи. Ходил он в гимназию неохотно, всегда в сопровождении собак, которых приманивал костями, наполнявшими его карманы,—шел не иначе, как посреди улицы, оглядываясь с удовольствием на бегущую за ним стаю. Выбрав удобное место, он выбрасывал кости, уськал голодных собак, собаки с жадностью бросались на добычу, рвали ее друг у друга, шипели, оскаливались и грызлись. Брат забывал все: присев на тумбу, он страстно следил за битвой,— если ярость собак ослабевала, снова раздражал

их и любовался... Так изучая характеры собак, он не редко пропускал класс, и собаку победительницу, самую дерзкую и азартную, награждал в знак отличия куском говядины...

Около того времени, к тетушке Елене Петровне присватался жених, очень некрасивый, ничтожный и бедный: он рассчитывал на приданое невесты и на протекцию нашего отца. Предложение свое он сделал через сваху, а сам не показывался. Но тетенька Елена Петровна готова была вытти хоть за обезьяну: так хотелось ей иметь мужа; а маменька радехонька была сбыть свою сестру за человека, который не мог оскорбить ее самолюбия своими достоинствами. Таким образом, сваха не успела заикнуться, как уже дело и сладилось...

Приготовления к принятию жениха сопровождались страшной суетой. Наконец, он явился. Весь красный как вареный рак, низенькой, с вечной улыбкой, по милости которой один угол его кривого рта постоянно пребывал под ухом, с тупым и маслянистым взглядом. Маменька отрекомендовала жениха Елене Петровне, видевшей его в первый раз, и с того дня она стала считаться невестой... Зависть к тетушке-невесте совершенно изменила гувернантку: она стала невнимательна в классе, все о чем-то думала; мы безнаказанно грубили тетушкам Степаниде и Елене Петровне. Раз они за меня поссорились с гувернанткой. Невеста приказала мне стянуть ей платье, я отказалась; она оставила меня без чаю; я рассердилась и сказала, что мы ждем не дождемся, когда бог избавит нас хоть от одной тетушки, и обещали поста-

вить свечу Николаю чудотворцу, когда ее не будет. Слезы брызнули из глаз чувствительной невесты. Сестра ее не выдержала и, как ястреб распустив когти, хотела вцепиться мне в волоса, но я успела спасти их, быстро накинув себе на голову передник... Бледная от злости, Степанида Петровна стучала мне в голову кулаком так, что искры сыпались у меня из глаз, но я нарочно смеялась и уверяла, что мне совсем не больно... И она также расплакалась и требовала, чтобы гувернантка строго наказала меня; к удивлению моему, гувернантка сделала мне очень деликатный выговор,—и только. Невеста и сестра ее возмутились легкостью наказания и приписали такое потворство зависти к чужому счастью... Гувернантка, зардевшись как зарево, с презрением объявила, что не стоит такой дряни завидовать, а если захочет, то найдет себе жениха получше и поумнее... Такой презрительный отзыв о женихе тетушки привел сестер в страшную ярость. Вспыхнула жестокая ссора, которая легко могла кончиться кровопролитием, но к счастью подоспела тетенька Александра Семеновна и разняла их... На другой день маменька выслушала две жалобы: обе стороны доказывали, что они обижены...

Жених ходил к нам каждый вечер. Приходя, он подходил к ручке своей невесты, садился в угол, на вопросы отвечал отрывисто, а сам никогда не решался их делать, выпивал два стакана чаю с ромом, вставал, подходил снова к ручке своей невесты и уходил домой...

Раз он явился краснее обыкновенного, еще сильней улыбался, смотрел на свою невесту

как-то странно, и даже к общему удивлению сделал два вопроса; кажется один состоял в том, нельзя ли дать ему рому без чаю? Насидевшись в углу, он встал и неровными шагами подошел к невесте, которая, думая, что он идет проститься, по обыкновению протянула ему руку... но он вместо руки чмок ее в губы; удивленная невеста отшатнулась, а жених, потеряв баланс, наткнулся на стоявшую вблизи гувернантку... Она с визгом отскочила, и жених растянулся на полу. Мы сбежались на пронзительный визг гувернантки; она стояла в углу и, закрыв руками лицо, кричала:

— Ах! ma chère, он меня хочет целовать!

Жених встал, улыбнулся, поклонился и вышел из комнаты. Взбешенные тетушки накинулись на гувернантку, посмевшую предполагать такое постыдное намерение в женихе. Особенно закричала Степанида Петровна, но гувернантка посмотрела на нее с таким оскорбительным изумлением, что она тотчас прикусила язык, злобно взглянув на сестру, а гувернантка сказала невесте:

— Ma chère, извольте сказать своему жениху, чтобы он не забывался и держал себя приличнее с благородной девушкой!..

Невеста, бледная от злости, отвечала:

— С чего вы взяли, ma chère, что он хотел вас поцаловать? Он споткнулся, и нечаянно!

— Вот хорошо, нечаянно! Вы верно не заметили, как он протянул ко мне губы, да я слава богу успела оттолкнуть его... а он бедный, так сегодня слаб, что упал...

Гувернантка засмеялась.

— Неправда, вы лжете, с сердцем возразила невеста.

— Очень жаль, что вы не верите, но я уже давно собиралась сказать вам, что он глядит на меня слишком пристально: точно я его невеста; я признаюсь, к таким вещам не привыкла, и мне очень конфузно...

Невеста от ревности зарыдала, тетенька Александра Семеновна попробовала потушить ссору, но слезы сестры победили ревнивую злобу Степаниды Петровны, она не вытерпела и вступила в спор с гувернанткой:

— А скажите, пожалуйста, давно ли вы стали так конфузливы? Я сама видела, как вы вешаетесь всем на шею!

— Как! я вешаюсь! Нет, уже извините, ma chère! Я не в вас, не позволю целовать себя Петру Лукичу,—я ведь видела, как вы вчера в передней прощались...

Степанида Петровна вскочила, очень близко подошла к гувернантке и грозно закричала.

— Кто же я по вашему? Ну, сказывайте?.. Вишь заважничала, что знает по-французск!..

— Это уже слишком, ma chère, вы забываетесь! Только горничные могут так говорить!

— Так я горничная! И ты смеешь мне говорить, что я горничная?..

Дальше я даже не могла понять, что они говорили и как бранились... Наконец, услышав крики, маменька прислала человека сказать, чтобы уняли детей... Тогда они начали перебраниваться шопотом, дополняя слова свои взглядами и жестами...

Узнав поступок жениха, маменька поспешила привесть дело к концу и дала сестре денег на покупку приданого. Здесь невеста оказала такое знание дела и такую предусмотрительность, которая могла ввести в заблуждение, что она уже третий и последний раз идет замуж. Ни один обычай не забыт, никакая мелочь не упущена: куплено полотно, из которого скроены простыни, до того длинные и широкие, что каждая могла служить парусом большому кораблю. Скроены и сшиты рубашки жениху, который, по приказанию невесты, принес в один вечер свою рубашку на меру. Когда он ушел, гувернантка язвительно спросила невесту:

— Как, ma chère, вы не постыдились взять у мужчины рубашку?

— Что же тут такое? Он мой жених!—с гордостью отвечала невеста, и каждый вечер шила вместе с сестрой рубашки своему жениху, нарочно обращая внимание приходящих на свою работу...

Дошло дело до меблировки: невеста отправилась с сестрой на новую квартиру, заготовленную женихом. Я попросилась с ними, и они охотно взяли меня, потому что нужно было нести узел. Мы вошли в небольшие, низенькие комнаты, на половину пустые, в которых запах лаку и дерева тотчас извещал о новой мебели... При виде двуспальной кровати невеста вскрикнула:

— Ну, так! коротка и узка!.. Кто-нибудь да упадет! Еще в лавке я говорила, что мала, а ты с купцом уверяла: хороша!

Степанида Петровна, раздраженная свадебными приготовлениями своей младшей сестры, обиделась и, заливаясь слезами, говорила:

— Так вот как ты благодаришь сестру за все ее хлопоты!

Явился жених, красный по обыкновению, и в утешение ей сказал улыбаясь:

— Полноте-с, не плачьте, Степанида Петровна... Ей богу будет хорошо!

Осушив слезы, она бросилась на кровать, растянулась на ней во весь рост и спросила невесту:

— Ну, что, узка?.. мало что ли тебе останется места? а?

Успокоенная невеста пошла рассматривать другие покупки, ревниво приглашая за собой сестру. Но, развернув одеяло, она опять побледнела и всплеснула руками.

— Ах, он бессовестный! подсунул вместо односпального два маленьких одеяла!

И тут невеста, швырнув одно, потом другое одеяло, в свою очередь заплакала и начала жаловаться на свое несчастье и на людей, которые все без исключения желают ей зла. Красный жених опять улыбнулся и сказал:

— Полноте-с, не плачьте, Елена Петровна... Ей богу, будет хорошо...

Я слушала их разговор очень внимательно, обошла кругом кровать и нашла, что на ней легко будет уложить всех гостей, которые соберутся на свадьбу... Когда я воротилась домой, прачка и горничная приступили ко мне с расспросами о квартире жениха. Я подробно им все рассказала...

Накануне свадьбы невеста с прачкой и горничной отправились в баню, куда пригласили и гувернантку... Воротились они часа через четыре,

и теперь уже невеста вполне приходилась под пару жениху: так же красна как он... Вечером Степанида Петровна, завивая ей голову, шепталась и перемигивалась с гувернанткой, а невеста сердилась и по временам говорила: «как же, позволю! извините, ошиблись!».. Утром на другой день к ней пришла ее мать, а наша бабушка, и все что то шептала ей, а она грубо отвечала: «я все знаю!». Но бабушка продолжала шептать... Настал вечер; невесту пошли одевать. Тетенька и гувернантка наперерыв подавали ей шпильки и булавки... Наконец, уже совершенно одетую, в подвенечном платье, вывели ее в залу, наполненную разряженными гостями. Мать и отец невесты начали благословлять ее, и она вдруг зарыдала, к великому моему удивлению... В слезах повезли ее в церковь, а нас не взяли, хотя мы плакали не меньше ее...

Через час все засуетилось: невеста торжественно вошла в залу, под руку с женихом, который походил на рака в белом галстухе. Их посадили за роскошно убранный стол, начали подавать шампанское, гости что-то прокричали, и молодые поцаловались,—мне стало так стыдно, что я убежала на антресоли и легла спать. Дикий гул разбудил меня; я сбежала вниз с сонными глазами и увидела опять цалование жениха с невестой; красные гости с бокалами в руках покрывали своими криками неистовую музыку.—Встали из-за стола, и началось прощание с новобрачными. Бабушки и дедушки на лицо не оказалось: их давно уже отвезли в карете домой, потому-что старики, вероятно от усталости, не стояли на ногах. Маменька засту-

пила их место; она поцаловала невесту в лоб, перекрестила и пожелала ей спокойной ночи...

Потом стали прощаться гости, которые странно улыбались... Прощаниям и желаниям не было бы конца, если бы сама невеста не потащила своего жениха, который с тупым взглядом и шатаясь последовал за ней.

Проснувшись на другой день, я очень удивилась, узнав, что тетенька-невеста не ночевала дома. Явились молодые, маменька их встретила подарком довольно дорогим; разговаривая с нею, молодая краснела, а красный молодой усилил свою всегдашную улыбку... Они пришли в детскую. Надменный вид молодой взволновал гувернантку; поздравив ее, она очень громко сказала: «вы верно устали, ma chère? Вы такая бледная...» Молодая посмотрела на нее с презрением и отвечала: «да, ma chère я очень устала!» а потом тихо прибавила: «вы вечно глупости говорите!»

Свадьба мне дорого обошлась,—я часто выбегала в сени смотреть, как горят плошки, и верно простудилась; к вечеру я почувствовала тягость в голове и боль во всех костях, ночь не спала и вся горела, а днем я лежала почти в каком-то забытьи. Сначала мне не верили, говорили, что притворяюсь, ленюсь, пробовали засадить за урок; но видя, что я ничего не ем, успокоились. У меня сделалась изнурительная лихорадка, которая все более и более меня расслабляла. Ни мать, ни отец не замечали, что я уж две недели не являлась им на глаза, а сказать про мою болезнь им никто не решался, потомучто мать всегда бранила тетеньку Александру

Семеновну, когда она просила у нее денег на лекарство.—Вы бы им больше давали есть,—говорила она.

Как лицо среднего рода, не то девочка, не то мальчик, и никем не любимое, я была предоставлена природе. Один случай сделал перелом в моей болезни и может быть спас меня от смерти. Раз я лежала в жару, не далеко от брата, который сладко спал; кругом меня было тихо; дыхание спящих братьев и сестер наводило на меня ужас. Мне казалось, что они не спали, а умерли, и лежали не в кроватях, а в гробах. Я закрывала глаза, но мне вдруг казалось, что не брат, а огромный черный таракан лежит подле меня и прикасается ко мне своими усами. Я садилась на постель, дико озиралась вокруг, удивлялась самой себе и будила брата, который в просонках спрашивал:

— Что тебе, Наташа?

— Я боюсь!

— Ну, закрой голову одеялом!

И подав такой совет, брат в ту же минуту снова заснул.—Я послушалась его и долго лежала вся дрожа от видений. Вдруг слышу какой-то стук в передней, дверь в сени с шумом раскрылась и незнакомый задыхающийся голос кричал: «воды, горит, горит!» Волосы зашевелились у меня на голове от ужаса. Скоро все засуетилось, начали хлопать дверьми и все забегали по комнатам. Я была уверена, что если загорится комната, то меня забудут и оставят, а выбежать сама я была не в состоянии, и мне казалось, что я начинаю уже гореть. Я хотела кричать, но не могла... Вдруг скрыпнула дверь и явился

мой отец; бледный, держа в одной руке свечу, а другою заслоняя свет, осторожно и медленно начал он обходить кровати и глядеть в лица спящим детям... Когда очередь дошла до меня, я приподнялась; я смотрела на него умоляющим взором и хотела просить взять меня и спасти, но его строгий и холодный взгляд оковал мой язык... Он спросил: «отчего ты не спишь?» Вся дрожа, отвечала я: «боюсь пожара!»—Он нахмурив брови и страшным голосом сказал: «если ты посмеешь разбудить кого-нибудь, тогда берегись...» И тут он сдернул с меня одеяло и завесил окно, в котором начинал уже появляться красноватый блеск... Потом еще раз обошел и осмотрел своих детей. Я пристально следила за ним... В ужасе я сделала к нему умоляющее движение рукой, но он погрозил мне пальцем, а потом осторожно ушел и запер за собою дверь на ключ. Через минуту раздался стук подскакавших пожарных и треск грохнувшейся стены,— я стала зажимать нос, закрывать глаза от дыму, который наполнял комнату; я задыхалась... Вдруг антресоли загорелись, я чувствовала, как огонь жег меня, видела спящих сестер и братьев в пламени, а посреди комнаты огромный черный таракан пищал и вертелся... Наконец явился отец, он страшно улыбался и грозил мне пальцем, и вдруг с громом и треском на меня рухнулись антресоли...

Когда я очнулась, был уже день; голова моя была обвязана, и Александра Семеновна сидела у моей постели. Явился доктор, а за ним и маменька. Доктор, внимательно посмотрев на меня, попробовал пульс и наклонясь спросил: не жарко-

ли мне? я отвечала: нет, и попросила пить. Маменька сама подала мне питье, но мне уж не хотелось пить, и я сказала, что хочу спать... Доктор попробовал мою голову и сказал маменьке: жару почти нет; бреду больше не будет... Ну, благодарите бога, ваша дочь спасена! но скажите, чем она была так потрясена и отчего ее болезнь так запущена?

— Право не знаю, все была здорова, легла спать, а утром начала кричать, что она горит, и что ее сестры и братья горят!

Доктор ушел, сказав: надо ее теперь беречь! Маменька кажется обиделась таким советом и, уходя вслед за ним, проворчала: право, уж не знаю, как их еще беречь!

ГЛАВА V

Попечения обо мне скоро кончились; как только доктор сказал: «ваша дочь спасена», меня предоставили природе, которая и постаралась оправдать такую лестную доверенность: вскоре я попрежнему сидела за ученьем, голодала и часов по пяти сряду выстаивала на коленях. Гувернантка со дня свадьбы заметно стала худеть; вечера сделались скучны; Степанида Петровна гостила у молодых, а Александре Семеновне было не до дружеских излияний. В классе наставница наша задумывалась, вздыхала и часто принималась что-то писать; наконец, в одно утро, когда мы сидели за уроками, гувернантка объявила тетенькам, что она желает ехать на отъезд, и прочла условие, наполненное такими подробностями и соображениями, которые доказывали глубокое знание практической жизни.

«Я, нижеподписавшаяся благородная девица, имеющая аттестат, берусь учить семерых детей, девочек и мальчиков, французскому и немецкому языку, истории, географии, арифметике, закону божьему и всем другим наукам,—девиц хорошим манерам и музыке, а мальчиков приличию, вежливости, а в случае надобности и танцам. Мне же: 1200 в год ассигнациями, экипаж крытый рессорный,—через воскресенье,—обращаться

со мной как с благородной девицей, родственники молодые люди, если есть, должны вести себя со мной как можно вежливее, а лакеи вставать, когда я буду проходить мимо, и называть меня не как-нибудь по своему, а барышней. Обед один и тот же и за одним столом с господами, место посреди стола, а не на конце. Чай и кофей четыре раза в день. Особую комнату с приличным освещением и меблировкой; в полное распоряжение девку, умеющую чесать, одевать, шить, и девчонку лет десяти, умеющую вязать чулки. Ниток на две дюжины чулок, холста домашнего на дюжину рубашек, дюжину полотенец, дюжину двуспальных простынь...»

— Как, ma chère, двуспальных? А зачем они вам?—перебила Степанида Петровна:—разве вы хотите там замуж вытти?

И она язвительно засмеялась.

Гувернантка покраснела и объявила, что ей двуспальные простыни выгоднее, потому она их и написала; но видя, что тетушка продолжает подтрунивать, она наконец воскликнула:

— А еслиб и так, что ж тут странного! Если ваша сестрица вышла замуж, отчего же я не могу вытти?

— За кого?—иронически спросила тетушка.

— Боже мой, ma chère! почему же я знаю? Ну, может быть за какого-нибудь помещика...

Тетушка побледнела.—Хороша помещица! прошептала она... А гувернантка так расцвела от мысли сделаться помещицей, что позабыла неоконченное условие, задумалась, наклонила на бок свою рыжую голову и улыбаясь что-то чертила на лоскутке. Мы потом его видели весь

исписанный, вдоль и поперек: «помещица такого-то села» следовало имя и отчество, а потом несколько точек, вероятно заменявших фамилию будущей супруги, и наконец великолепный росчерк, или просто: «помещица, помещица»...

Радость наша была так велика, что мы не верили нашему счастью до самого дня отъезда гувернантки. Я очень сожалела о девочке, которую она требовала себе в полное распоряжение, и бедных детях, которые в невинности своей не предчувствуют, что их ждут страдания жажды и голода... С тетушкой Степанидой Петровной гувернантка простилась очень трогательно (они даже дали слово писать друг к другу как можно чаще), но маменька, недовольная, что гувернантка отходит и тем на время нарушает порядок в доме, рассталась с ней холодно. Прощаясь с нами, гувернантка прослезилась; но, увидев наши сияющие радостью лица, она так огорчилась нашей бесчувственностью, что непременно бы наказала нас, еслиб ее не торопили ехать.

Вечером, когда отец воротился домой, мы услышали голос маменьки вместе с именем гувернантки. Тихонько подошли мы к двери. Маменька говорила с жаром: «пусть попробует, никто не станет держать такую дрянь!» Отец, предвидя неприятный разговор о детях, с недовольной гримасой сказал лениво: «ну, найми другую!»

— Нет-с, извините; я и с одной довольно пострадала! Меня просто в гроб загонят вечные хлопоты да заботы!

И маменька залилась слезами, которые в таких случаях всегда имели полный успех: отец,

сразу запуганный, не решался противоречить ничему.—Ну, полно, делай как знаешь и как хочешь. И махнув рукой, он подпер голову руками. Маменька обратилась к Кирилу Кирилычу, долго рассказывала, как ее мучат дети, и заключила так:

— Всех их пора раздать по училищам... дома только балуются. Вот Мишка опять не ходил в гимназию... Ты, Андрей, его хоть бы высек...

— На него никакое сечение не действует,— проговорил отец и положил голову в подушку, давая знать, что он теперь совсем не расположен рассуждать о воспитании детей.

— Я их всех раздам!—горячо воскликнула маменька:—девчонки могут бросить свои книги и заняться шитьем; я вот слава богу и без книг живу, дай бог им так жить, да еще увидим, кто их возьмет, даром что ученые! (маменька усмехнулась)—Михайлу отдам к учителю, авось он его вышколит... Что же мне больше делать?.. Слышишь, Андрей?

Отец отвечал выразительным «гм».

Маменька продолжала:—Федора к брату Семену, пусть учится рисовать.

Тут она остановилась, выжидая вдохновения, куда пристроить остальных детей.

— А который год вашей Наталье?—спросил Кирило Кирилыч.

Маменька смешалась. Убавляя себе лета, она решительно потеряла счет годам своих детей.

— Кажется десять,—отвечала она,—и ошиблась: мне был уже тринадцатый...

— А Ивану?

Маменька рассердилась.

— А кто их знает, кому какой год!

Отец, подумав по внезапному возвышению голоса, что жена о чем-нибудь его спрашивает, опять промычал «гм...»

Кирило Кирилыч присоветовал отдать меня учиться музыке.

— Прекрасно!—воскликнула маменька: ну, а тех двух меньших в гимназию, да на полный пансион! Так, Андрей?

Вместо ответа раздалось храпенье.

— Вот изволите видеть! — воскликнула маменька с гневом,—все на мне лежит!

Узнав нашу участь, мы побежали к тетеньке Александре Семеновне, окружили ее и заговорили все вдруг, куда кого отдадут.

— Мишу отдадут к учителю.

— И хорошо!.. Только вы ей скажите, тетенька,—если меня будут бить, я учиться не буду... Я сам уйду в солдаты.

Миша говорил так решительно, что тетенька испугалась и начала его уговаривать.

— А Федю к дяденьке учиться рисовать...

— Ну, брат, он тебя научит писать вывески.

— А мы с Наташей будем странствующие музыканты... Надо же пособлять маменьке.

— А вас, тетушка, с Степанидой Петровной, вот погодите, она отдаст учиться танцовать... вы будете играть Сильфиду...

— Перестаньте говорить глупости...

Тетенька сердилась, мы смеялись, а Миша все больше свирепел и грозился уехать на Кавказ.

— Поезжай, брат!—кричал ему будущий музыкант:—я тебе сочиню марш, когда ты будешь полковым командиром.

Весь остаток вечера прошел в рассуждениях о нашей будущей жизни. Меньшие братья, Петр и Борис, горько плакали. Тетенька Александра Семеновна на другой день попробовала заикнуться, что они еще очень малы, но маменька отвечала с гневом: «Балуйте их! они малы! да в их лета другие дети кормят уж своих родителей!..» Точно: в то время два мальчика, немного постарше моих братьев, разъезжали по Европе, давали концерты и собирали большие деньги. Они посетили и Петербург. Маменька в первый раз в жизни решилась купить ложу и забрала нас послушать их... И ни на минуту во весь концерт не переставала она напевать нам, что вот какие бывают дети: отца кормят, а вот у ней не двое, а восемь человек, да никто ни к чему не способен, а только ее огорчают...

Рассортировка наша началась и кончилась очень скоро. Миша отправился к учителю, которого маменька приискала по своему вкусу. Меньшие братья, в своих новых мундирах, горько плакали, расставаясь с игрушками, которые отдали мне на сохранение, и наказывали пораньше прислать за ними в субботу. Александра Семеновна тоже прослезилась и дала им по гривеннику. На другой день маменька сделала ей строгой выговор за баловство; она воротилась к себе вся в слезах... Мы вслух бранили и проклинали шпионов, очень хорошо зная, что на нее насплетничала Степанида Петровна, которая после такого подвига обыкновенно убегала к своей матери и возвращалась только на другой день, когда буря стихала.

Дяденьку, к которому отдали учиться брата Федора, мы не любили, как человека необычайно

грубого. Он находил, что братьев мало секут и говорил так: «уж если бы мне дали вас высечь, уж вы бы у меня!..» И голос его звучал таким чувтвом, как-будто то были самые приятные мечты его и желания в жизни. Фигура его была очень оригинальна: лицо длинное и рябое с вечно глубокомысленным выражением, нос большой и топорный, руки, ноги,—все неуклюже; серые небольшие глаза до того не выразительные, бессмысленные, что не делай он движенья ногами и руками, его можно было бы принять за дурно сделанную чучелу. Грубость натуры и необразованность выказывались в нем на каждом шагу. Походка его была тверда и медленна, одну руку он вечно держал за спиной, как-будто она приросла там. Являясь в детскую, он цаловал в лоб свою любимую племянницу Соню, а для приличия и Катю: «ну, здравствуй, Соня, здравствуй, Катя...» Когда же очередь доходила до меня, он отворачивался и сухо говорил: «ну. здравствуй, мамзель Наталия». Затем неизбежно следовало восклицание: «а как у меня болит поясница, Сашенька!» так он называл тетеньку Александру Семеновну, или: «а какой у меня геморрой, Сашенька!» С родной сестрой своей он здоровался очень холодно: они не любили друг друга, и Степанида Петровна явно над ним смеялась. Он очень любил рассказывать, но говорил так, что никто не мог понять его; кончив рассказ, он громко смеялся. Я всегда присоединялась к нему: меня ужасно смешил глубокомысленный его вид и уверенность, что он очень умно говорит. Ему случилось долго быть в Курске, и все сведения, которые он вывез оттуда, состояли вот в чем:

— Представьте себе, Сашенька... ха, ха, ха!.. Там виноград гривна фунт... ха, ха, ха!.. Здесь просто дрянь, а уж в Курске я видывал, так с аршин...

— Хорош город Курск, дяденька?—спрашивала я с насмешкой.

— Хорош! Идешь, так тебе и суют виноград, право, кисть в аршин, мужики едят... ха, ха, ха!..

Он жил с своими родителями. Я часто гостила у бабушки и видела, как они жили. Квартира у них была маленькая, всего три комнаты и кухня, прислуги никакой; бабушка сама отправляла должность кухарки и горничной. У дедушки были свои любимые занятия, которых он не уступил бы никому в свете: топить печки, чистить самовар, подсвечники и ножи. Дяденька занимался живописью и служил в герольдии, но служба была легкая, частной работы мало, и потому он проводил время в раскладывании гранд-пасьянса, в медленном курении коротенькой трубки и в грызении своих ногтей, чем он так обезобразил свои руки, что мне делалось дурно, когда я на них смотрела. А иногда он, заложив руку за спину, прохаживался по комнате и напевал:

«Молодой матрос корабли снастил»,

так печально, что мне делалось страшно; я прижималась к бабушке и просила ее рассказать мне что-нибудь о своей жизни. Но главную роль в его жизни играл сон. Часто он ложился после обеда, а просыпался только на другой день кввечеру, и то благодаря бабушке, которая, испугавшись, что ее сын так долго остается без

пищи, решалась наконец раскачать его. Он раскрывал распухшие глаза и грубо говорил: «что вы ко мне пристали с вашим чаем?.. не дадут заснуть хорошенько, только ляжешь и будят: «вставай Семен...»

Только приходя к нам, он уверялся, что уж давно другой день.

— Дай-ка мне, мамзель На-та-лия, сегодняшнюю афишу.

Я подала афишу. Глубокомысленно посмотрев число, он разражался хохотом.

— Ха, ха, ха, Сашенька! я лег седьмого, а теперь восьмое!.. ха, ха, ха...

Ему-то маменька вверила воспитание брата Федора: дяденька встретил его такими словами: «ну, брат Федор, не ленись, а то засеку», и сдержал слово. Забитый и засеченный бедный мальчик сделался заикой и когда являлся домой, то походил между нами на юродивого.

— Что, Федя, тебя секли и нынешнюю неделю?—спрашивала я.

— Да... пятттъ... раааaз,—отвечал он с страшным усилием.

Я плакала, когда он опять шел к дяденьке...

К счастью Федора, его баловала бабушка, которую мы все любили: она каждое воскресенье приносила нам гостинцу, обходилась с нами ласково и никогда не читала нам наставлений...

Заметив, что бабушка потихоньку кормит внучка, дядюшка бранился и грозил запирать его в особую комнату. Сначала он сек брата прутьями из веника; но бабушка сердилась и долго не давала веника, уверяя, что он ей нужен—кухню мести... Наскучив одолжаться и заметив, что хи-

травя старуха начала носить из бани веники тощие, дядюшка купил целый воз прутьев у чухонца, который кричал на дворе: «метла! метла!» велел сложить их в чулан, где лежали дрова, а при свидании с маменькой потребовал истраченные деньги...

Рассердившись за какую-нибудь кривую линию, дяденька приказывал племяннику принесть розог из чулана: «да смотри хороших, а не то, сам пойду, хуже будет!» Племянник, будто получив приказание принести стакан воды, уходил молча. Сначала он пробовал тронуть своего палача, плакал, кидался перед ним на колени, умолял; но палач медленно ходил по комнате, курил и молчал, не обращая внимания на бедного брата. Бледный и дрожащий мальчик с посинелыми губами продолжал стонать и рыдать, умоляя хоть отложить наказание, но дядюшка молчал. В отчаянии он полз на коленях за дядюшкой и целовал его ноги,—ничто не помогало!.. И брат наконец оставил бесполезные попытки. По первому приказанию он шел к бабушке за ключом от чулана.

— Что, Федя, разве опять?—спрашивала она с ужасом.

— Да, бабушка, опять.

И брат плакал, тронутый ее участием.

— Да не дам же я ключа... скажи своему злодею!

Но брат умолял ее дать ключ, говоря: хуже будет, он меня до смерти засечет!

Бабушка сама бежала с ним в кладовую, повторяя: «Боже мой, боже мой! вот жизнь-то моя! ребенка мучат, а я гляди, да еще розги давай...

Хуже всякой каторги! «Достав пучок прутьев, бабушка с внуком начинала выбирать розги.

— Вот тебе, Федя, хорошая розга,—говорила бабушка.

— Что вы, бабушка?—возражал внук и с испугом отбрасывал жиденький прут, чтобы избегнуть соблазна.

— Ну, так вот...

— Нет уж, бабушка, оставьте! я сам выберу; вы мне даете все жиденькие да сухие...

И он усердно выбирал лучшие прутья.

Дяденька встречал его радостной улыбкой. Сжав чубук в зубах, он брал розги, с любовью осматривал каждую, размахивал ею по воздуху, и розга изгибалась и что-то нежно шипела ему на ухо. Он отвечал ей ласковой улыбкой, будто страстно любимой женщине. Племянник между тем устраивал себе эшафот: он брал доску, клал ее на два стула и укреплял их веревкой, чтобы они не разъехались; потом ложился на доску пробовать ее прочность. Наконец, приготовившись как должно он ждал пытки, поминутно меняясь в лице... Дяденька медленно ходил и курил... Докурив трубку, он говорил: ложись. Вздрогнув и взглянув на суровое лицо палача, племянник молча исполнял его волю, обхватывал доску руками и крепко прижимал ее к сердцу, которое хотело выскочить из его груди и громко стучало в доску как маятник... Засучив по локоть рукава, разогнув свои члены, палач заносил вооруженную руку...

Наконец он кричал: вставай, а сам шел набивать себе трубку, напевая: «Молодой матрос корабли снастил».

Рыдания племянника сливались с его заунывным пением; он на минуту останавливался, спрашивал: «ага! хорошо?» и снова затягивал: «Молодой матрос корабли снастил...»

При виде истерзанного внука, бабушка заливалась горькими слезами, жаловалась на свою лютую участь, кормила его пирогом, сейчас вынутым из печи, и обещала сварить ему после обеда кофею. Потом она шла к сыну, пробовала уговаривать его, называла душегубцем и живодером и в отчаяньи уходила, восклицая: «в кого ты, злодей такой, уродился?».

— Разумеется не в вас,—кричал он вслед ей с гордостью.

Дедушка также раз попробовал защитить своего внука, но сын мрачным голосом иопросил его не мешаться не в свое дело. После того дедушка, великий трус, в таких случаях убегал в сени и, зажимая уши, кричал: «господи, убьет! убьет! и у кого он, злодей, выучился так драться? я его никогда пальцем не тронул...» Первая такая сцена произвела волнение во всем доме; заслышав неистовые крики, жильцы высунули из окон встревоженные лица. Но вскоре все привыкли, а наконец и брат, видя, что его вопли сильней ожесточают дяденьку, перестал кричать. С тех пор наказания происходили молча, и только мальчики жившего в том же доме портного не переставали следить с жадным любопытством за подвигами дядюшки, которые имели на них благодетельное влияние. Бледные лица их заметно повеселели; они не только примирились с своей судьбой, но даже благословили ее, убедившись собственными глазами, что сечь можно и еще боль-

ней, чем сечет их хозяин... Зато хозяин-немец потерял к себе всякое уважение, которое все перешло к строгому дядюшке. Встречаясь с ним в сенях, он низко ему кланялся, а увидав бабушку, говорил: какой ваш сын молодец!..

ГЛАВА VI

Я очень любила гостить у бабушки, и дни, которые я у ней проводила, были самые счастливые в моем детстве. Я стряпала вместе с ней, раскладывала огонь к ужину, осыпала ее распросами, и добрая бабушка охотно и ласково отвечала мне... В такие минуты я была совершенно счастлива... Дедушка, беспрестанно ворчавший на бабушку, придирался иногда и ко мне, когда я что-нибудь уроню или переставлю, но его гнев ограничивался одним ворчанием...

Ему было лет 60; он был высок и страшно худ. Щеки впалые, ноги похожие на сухие прутья; нос длинный-предлинный, как будто тоже от худобы погнувшийся немного на криво, маленькие глаза, огромный рот, голова небольшая, покрытая жидкими русыми волосами почти без седин,—вот его фигура. Бороду брил он только раз в неделю—из экономии, и оттого еще страшнее казался с первого взгляду. Походку имел скорую и шагал очень широко; словом, он очень походил на Дон-Кихота, за исключением спокойного и величественного выражения в лице: дедушка был труслив как ребенок... Лет десять ходил он в одном и том же бараньем тулупе, покрытом зеленой нанкой, которая превратилась в черную с блестящим отливом; а от меху оста-

лись только клочки; телесного цвета нанковые панталоны, завязанные внизу тесемками, толстые чулки и неуклюжие туфли, в роде калош,—вот его костюм. Но особенно кидался в глаза его исполинский галстух, делавший шею дедушки обширнее его талии. Сделал его сам дедушка в припадке белой горячки, когда ему чудилось, что какие-то бесы хотели его задавить. Галстух отличался необыкновенной толщиной и упругостью, которая назначалась задерживать действие враждебной веревки, если б ее накинули дедушке на шею. С тех пор он уж никогда не снимал спасительного галстуха, а если шел куда-нибудь, то повязывал на него косынку. Впрочем такие случаи бывали очень редки. Он не выходил из дому больше двух раз в год, боясь оставить свою кровать, в которой заключалось все его сокровище. Вышедши по болезни в отставку с пенсионом, он стал копить деньги и прятал их под тюфяк в старые ноты. Опасаясь, что украдут его деньги и выпьют ром, он никому не позволял прикасаться к своей кровати, которая стояла у самой печки. Натопив печку до последней крайности, он закрывал ее с огнем и растягивался во весь рост головой к печке, кряхтел от удовольствия и скрипел зубами... Он не знал угара и не верил в его существование, и когда бабушка лежала без памяти, он приписывал ее головную боль вину, ворчал, бранился, а сам тихонько тянул ром из бутылки, спрятанной в кровати. Начав копить деньги, он стал прижимать бабушку; вынув синюю ассигнацию на расход, он клал ее на стол возле себя и дразнил ею бабушку, говоря, что у ней глаза за-

прыгали при виде денег. Проворчав часа четыре, он наконец отдавал деньги, но весь тот день попрекал ее, что она его разоряет.

Дедушка занимался и чтением, но читал постоянно одну книгу: Брюссов календарь. Приставив к одному глазу зажигательное стекло, а другой прищурив, он держал книгу четверти на две от себя и читал мне вслух, что «такая-то отроковица, родившаяся между 15-м такого-то месяца и 15-м такого-то, упряма, мотовка, любит рыбу, склонна к неге; снаружи духовного поведения, но внутренно жестокою заражена любовью. Вышед замуж, не будет мужа любить, но последует прежней склонности»,—и восклицал: вот портрет твоей бабушки!.. Я просила прочесть толкование на день его рождения; в пылу своей горячности, он начинал: «Отроче, родившийся от 15-го октября до 13-го ноября: тот бывает холоден и влажен, натуру имеет женскую, притом скуп и жесток во гневе...» Ну, это хочешь верь, хочешь не верь, Наташа!—И дедушка закрывал календарь или возвращался к бабушке, доказывая мне, что слова: «жестокою заражена любовью» намекают на ее страсть к вину.

Дедушка всеми силами старался помешать бабушке лечь спать после обеда. Видя, что она скоро уберется в кухне, он кидался на большую кровать с ситцовыми занавесками, которая в старину была их брачным ложем, и с наслаждением ждал появления бабушки... Увидав растянувшегося дедушку, я бежала сообщить мое горе бабушке, с которой хотела лечь, чтобы слушать ее сказки и рассказы о прошлом житье-бытье. Что было делать? Как выжить дедушку? Я ухо-

дила в его комнату, нарочно с шумом что-нибудь роняла и пряталась за дверь. Услышав стук, он вскакивал и бежал к себе, а я бежала к бабушке с известием, что кровать свободна. Мы ложились и в свою очередь с торжеством ожидали дедушку. Он приходил, садился к столу, барабанил пальцем и наизусть читал из Брюссова календаря, что бабушка мотовка и сварливая, любит негу и роскошь. Мы притворялись спящими, я нарочно храпела, и дедушка, поскрипев зубами, с ворчанием уходил к себе. Мы тихонько смеялись нашей хитрости, и я упрашивала бабушку что-нибудь рассказать мне.

Бабушке было слишком пятьдесят лет. Ее лицо сохранило еще признаки прежней красоты, несмотря на долгие труды, нужду и вино, к которому приучило ее горе. Родные дети обращались с ней и с дедушкой с презрением. Иногда выведенная из терпения их грубостью и ворчанием мужа, она выпивала лишнюю рюмку и грозилась всех прибить, но даже и в такие минуты она ласкала своих внучат, приговаривая: «Знаю, все знаю, Наташа, мать и отец вас не любят, все мои дети злые, а я бедная...» И тут она плакала, а от слез переходила к угрозам:

— Я их всех прибью! Вишь ругаться пьяницей, да я хоть и пьяница, а не стану мучить родных детей. Небось выкормила на свою же шею злодеев!

Она изменила голос и продолжала:

— Вы нас срамите,—мы вас знать не хотим!.. Да я вас сама знать не хочу! Ах, вы бессовестные! Я, бывало, за столом по неделе кроме черного хлеба ничего не видала, да дрогла в хо-

лодной комнате с шестерыми детьми мал-мала-меньше, тут рад бог знает чего выпить, лишь бы согреться. Бывало, Наташа, соседка услышит за стеной, что я плачу вместе с грудным ребенком, придет с рюмкой, да и упросит выпить: говорит, молока больше будет и ребенок перестанет плакать. Ну, и выпьешь в самом деле станет теплее и заснешь крепче. А как ваш дед-то придет тоже весь закоченелый, у него не то, что у вашего отца с матерью, шуба не шуба, а просто фризовая шинель была, да ты знаешь ее, Наташа.

— Знаю, бабушка, с воротничками?

— Ну, да! Так вот он в мороз-то в ней ходил; день-то и вечер проиграет в оркестре, а ночью побежит куда-нибудь на бал играть, и веришь ли, часов в пять ночи бог знает откуда придет пешком, извозчика не на что нанять. Вот бы согреться, отдохнуть, а комната холодная, высечешь ему огня, да зажжешь огарок, нарочно для него берегла, а вечер без огня просидишь. Сам-то от холоду ничего не может взять, хлопает, хлопает руками—насилу отогреет. Вынешь ему из печки чуть теплые щи, либо каши, что от детей останется. Разденется и станет есть; а мне-то глядеть на него жаль, такой худой-расхудой... Бывало спросит: «Насть, ты ужинала?»—Да, ужинала, а сама думаешь: как же! если б поела, так тебе-то нечего было бы перекусить... Дед-то ваш, Наташа, не был прежде такой злой, ей-богу, правда! «То-то, скажет, Настя, я мог бы и так лечь, у меня есть чем погреться». Вынет из кармана шинели бутылочку, выпьет и мне поднесет, говорит: «хлебни, Настя,

согреешься». Сперва, бывало, рот так и зажжет от одного глотка, а потом и рюмочки по две пивала. Слава богу, выкормила всех на свое горе. А как замуж выдавала вашу-то маменьку, вот-то мы работали—день и ночь: все мне хотелось сделать получше, а теперь она тоже меня гонит, как придешь в залу: «Подите, маменька, в детскую, вам там пуншу сделают». Лучше не срамила бы меня при всех... А вот еще злодей-то дядя твой, как захворал оспой,—он не был такой рябой, мальчик был славный, оспа, кажись, и душу-то ему испортила,—вот натерпелась-то горя твоя бабушка! Дед-то сколько денег потратил, все дарил фельдшера. А вишь выкормили какого живодера; да если б я знала, что он будет такой, так я б его сама своими руками задушила, прости господи!

Бабушка подходила к шкафу, наливала себе рюмочку, выпивала залпом, морщилась и продолжала:

— Ох, Наташа, было плохо твоей бабушке: бывало, уложишь детей спать, а сама сидишь, спать не можешь, так сердце и ноет: что-то больной сын? ведь, один только и был мальчик, а то все девочки. Заложишь гвоздем дверь; замка-то совсем не было; до нас тут жил какой-то сапожник,—замок то верно его мальчишки сорвали, да продали. Стала я просить новый у домового хозяина, а он говорит: «да что у вас красть-то!» Правду сказать: бедно жили! жалованье маленькое; нужно чисто одеваться, просто хоть с голоду умирай, не то, что ваша мать с отцом!.. Детское белье, кой-какие платьишки старые, теплый капотишко, да и тот на плечах,—

смерть, бывало, холодно зимой-то,—вот и все богатство... А все-таки чуть грех не вышел... Раз вечером сижу одна и слышу какой-то шорох. Дом-то был гадкой; кто тут не жил? И татары, и жиды, даже беглые дня по два приставали. Вишь, дом-то застроили большой, да до половины дошли и остановились. Господь их знает, капиталу ли не хватило, тяжба ли завязалась; так половина и стояла без окон, там и целая шайка разбойников могла спрятаться. Мастеровые жили разные и словно разбойники ходили по двору, а двор-то был проходной, поди сыщи вора! Лестница деревянная,—вишь, каменной-то не собрались сделать,—подгнила, развалилась, и мы с другими жильцами ходили по стремянке месяцев шесть, уж насилу сделали потом из старых досок лестницу, почитай не лучше стремянки. Бывало станем жаловаться хозяину: ходить, мол, нельзя, а он свое: важные господа! и так влезут, как поесть самим, да детям захочется!.. Просто, разбойник!.. Раз было вздумал меня обнять, да я его порядком проучила. Иду вечером из лавки, в одной руке кувшин с квасом, в другой детям патоки несу, только-что хотела ногу занести на стремянку—глядь, красная рожа стоит тут.—«Куда изволили ходить?..»—В лавочку.—«Вы, говорит, напрасно себя мучаете; вы такая красивая; да и муж-то ничего не узнает, а я вам дам квартиру сапожника за ту же цену и лестницу сделаю...» А сам так вот и лезет ко мне. Я ему говорю: «оставьте меня, ничего не хочу от вас», а он как схватит меня, да как чмокнет в щеку. Мне так стало гадко, что я б его на месте убила, говорю: «Ах, ты старый грешник, я вот и бед-

ная, а с такой рожей знаться не хочу», да как плесну ему в лицо квасом, а сама ну карабкаться на стремянку. Он ну чихать, кашлять и тоже за мной, да я молодая-то проворнее была, успела до дверей добраться, а он до половины долез и испугался, да ну меня ругать на чем свет стоит. Ты, говорит, такая и такая, погоди, говорит, проучу тебя, моя голубушка, будешь меня квасом обливать; я, говорит, и стремянку-то отниму, да и посмотрю, как ты запоешь, как твои волченята захотят есть. Ни жива ни мертва пришла я домой: дети просят пить, а у меня в кувшине только на донышке, итти в лавку опять боюсь, думаю: как он в самом деле стремянку отымет, я и останусь внизу. Насилу уняла детей, уж поскорее им чаю с патокой сделала, так замолчали.

— Зачем же вы не пожаловались на него дедушке? — спросила я с негодованием на хозяина.

Бабушка усмехнулась и отвечала:

— Хорош ваш дед-то, всегда был трус. Раз увидел вора, так словно малый ребенок испугался. Зато ваша бабушка всегда была казак-казаком, уж сам вор назвал меня лихой бабой!

— Как, бабушка, вы говорили с вором, и он не убил вас?

— Нет, ничего не сделал, только испугал. Вот, можно сказать, натерпелась-то я на своем веку!

И бабушка подперла рукой голову и задумалась. Просидев так минуты три, она махнула рукой, снова подошла к шкафу и начала тянуть уж прямо из графина... Я удивлялась, что за

охота ей пить такую горечь. Раз из любопытства я попробовала из выпитой рюмки одну каплю, так тут и целый час горело во рту...

— Бабушка, а бабушка!—закричала я, соскучась смотреть на нее.

Бабушка вздрогнула, поспешно поставила графин на место и застучала вилками и ножами, будто убирала в шкафу.

— Бабушка, расскажите мне про вора.

— Постой, Наташа, дай я уберусь,—отвечала бабушка недовольным голосом, захлопнула шкаф и легла на постель, на которой я уж давно ее ожидала.—Ох, о-ох ты, Наташа, устала твоя бабушка-то! сегодня я бегала, бегала по Сенной; ноги и руки так закоченели, насилу кулек донесла домой.

— Бабушка, голубушка, расскажите про вора!

И я крепко целовала бабушку.

— Ну, полно, Наташа, мне больно, ты так крепко целуешь. Слушай, расскажу; ну; на чем бишь я остановилась?

— Бабушка, вы сидели одни вечером и услышали, как вор за дверью шуршит, — подсказала я бабушке скороговоркой.

— Ну, вот я сижу одна и слышу, что кто-то дверь качает. Я спрашиваю: кто там? Думаю, жилец за огнем; молчат!.. Вижу, дело неладно; дверь еще сильней закачалась. Думаю себе, ну, что если вор какой-нибудь! оберет последнее детское белье, да чего доброго разбудит детей, а те закричат, а он разбойник, пожалуй, задушит их! Так стало страшно, что мороз пробежал по коже; что делать? Думаю, дай закричу, будто не одна сижу, и ну звать: «Иван! Иван вставай!

кто-то там ходит. Ну, хоть ты, Федор, встань да отвори!» Кто-то стал красться от двери, но через минуту снова зашатал дверь. Я опять кричать: «да встаньте, ребята, посмотрите, кто-то шалит дверью». Схватила старые сапоги вашего деда, натянула себе на ноги, зевая и потягиваясь подошла к двери, а у самой слезы так и просятся на глаза, сердце так и стучит со страху. Слышу кто-то сходит по лестнице; я как размахну дверь, да как закричу басом: «Кто там шалит? Убью!..» А сама поскорей захлопнула дверь и едва стою на ногах. Заложила опять гвоздем дверь внизу, да и вверх еще другой гвоздь положила и начала ходить по комнате, пристукивая сапогами и на разные голоса говорить, да чихать и кашлять.

— Что же они ушли, бабушка?

И я вся дрожала от страху.

— Какое ушли! послушай. Вечером уж поздно слышу, стучат в дверь, словно дом горит.—Кто там? «Отвори скорее!»—я обрадовалась—голос деда, вынула гвозди и отскочила от двери,—такой он был бледный, весь дрожал.—Что ты, Петр Акимыч? Что с тобой?—спросила я. Насилу мог сказать он, что кто-то в сенях спит—он споткнулся и чуть не упал. Я стала смела вдвоем-то, говорю: посвети, Петр Акимыч, я пойду посмотрю,—а сама себе думаю: знать мой молодчик улегся! Выхожу в сени и вижу лежит огромный мужчина в красной рубахе, рыжий такой и храпит себе на полу, словно дома. Я его ногой в бок. Он вскочил, как шальной, осмотрелся, нас оглядел, да как шмыгнет вниз... Мне даже смешно стало, я и говорю деду, который свечу

поставил на пол, а сам в комнату спрятался; чего же ты ему не посветил? Чего доброго упадет на нашей лестнице с непривычки! Мы посмеялись; я стала ужин сбирать и говорю: теперь боюсь одна итти в сени за кушаньем, возьми свечу и пойдем вместе. Отворила дверь у шкафа,—чорт ее знает, не совсем раскрывается! Нагнулась я, глядь—между шкафом и дровами торчит сапог, слышу храпит кто-то, я ну тянуть за сапог. Из-за дров сперва показалось что-то косматое... У! Не домовой ли? Я ну молитву творить, да вижу вылез мужик, черный, рябой, такой дюжий. Волосы словно шапка, борода склоченная.

— Ну, что кричишь, баба?...—Но тут он увидал деда, который успел уж навострить лыжи к дверям.

Я ему говорю, разбойнику:—что ты тут делал?

— Разве не видишь, что спал!

— Я вижу, что спал, да разве тут твое место?.. а?.. Отправляйся ка домой, коли дом у тебя есть, а не то достанется!

А он, разбойник, как поглядит на нас пристально, да как закричит:

— А что мне достанется? Что я сделал? Украл что ли у вас что?.. А?

Я испугалась, попятилась назад, да потом и сама на него закричала: Потише, брат, потише! У нас и красть-то нечего! Он, душегубец: «да и впрямь, говорит, нечего!» почесал затылок, заглянул в шкаф... «Дай, говорит, тетка, испить квасу, ей-богу уйду. Мочи нет, в горле пересохло». Я ему и говорю: не мудрено, вишь, ты во всю ивановскую храпел!—Знаю, говорит,

уж с таким пороком родился. Раз чуть себя не сгубил, а что делать? Пословица не даром сказана: горбатого могила исправит...» Нечего делать, подала ему кувшин; он его весь выдул, обтер бороду рукавом, усмехнулся, да и говорит: «Тетка, а тетка! Дай уж и закусить, вот хоть говядины...» А сам к шкафу так и наровит.— Ах, ты, говорю, греховодник! Ведь сегодня середа?.. А он мне в ответ: «Да что, тетка, ты уж дай только, а грех-то на мою душу пойдет,— не первой!»—Ну, возьми. Он положил себе в пазуху кусок говядины и хлеба и сказал: «Спасибо тебе, тетка, давно бы так, чем кричать-то! Хоть ты баба и лихая, а я бы все-таки с тобой сладил. А вон ту сосульку я пальцем бы уложил!»—он указал на вашего дедушку, который дрожал, как лист на пороге... Мне, признаться, стало смешно... Ну, дядя с богом!—говорю мужику: —полно балагурить-то!.. Мужик надел шапку на бекрень, свистнул и сказал: «Прощайте, спасибо за угощение». Я про себя подумала: а вас за посещение...

— Я после долго боялась одна по вечерам, не пришел бы опять за чем мой черный вор. На другой день рано утром выхожу в сени, глядь, лежит на полу нож, такой славный... Я, признаться, обрадовалась, у нас такого большого ножа не было,—пригодится в хозяйстве. Кажись, уж теперь годов двадцать, как я им стряпаю, весь сточился...

— Бабушка, так это нож вора, что вы зелень-то чистите?

Но бабушка ничего не отвечала... Она то закрывала глаза, то вдруг их открывала, бормоча:

«вот я тебя... пьяницей!..», а остальное договаривала губами, без слов, вздыхала тяжело и слегка храпела... То вдруг звала меня громко: Наташа! Наташа!

— Что вы, бабушка?

— А, ты здесь?—тихо спрашивала бабушка.

— Здесь.

— Ну, спи же, и бабушка твоя тоже заснет: ведь я день-то умаялась!.. Чем моя жизнь теперь лучше? а, Наташа, чем лучше?.. комната теплее, да светло, зато... ей бо... гу...

Бабушка чуть внятно договорила последние слова и замолкла... Ночник едва горел и страшно моргал; взволнованная, я с испугом смотрела на стенные часы, которые казались мне живыми: в однообразном стуке маятника я находила сходство с биением моего сердца... Ну, если это не часы, а живой человек, которого какая-нибудь колдунья превратила в часы? И что если я тоже превращусь в часы, буду вечно висеть на стене—дни и ночи, без отдыху уныло качаясь?..

Мне стало страшно, я пробовала заснуть, не могла; когда я опять открыла глаза, мне показалось, что циферблат улыбается а маятник еще скорее закачался. Я отвернулась, но мне казалось, что часы начали двигаться и опять очутились против меня, только уж теперь они не улыбались, а жалобно мигали мне... Я соскочила с постели, и гири вдруг передернулись, стукнули, я побежала—и часы бежали за мной, постукивая... с шумом отворила я дверь к дедушке и громко закричала:

— Дедушка, вы спите?

Дедушка соскочил с кровати и долго озирался кругом.

— А кто меня зовет?

— Я, дедушка.

— А... ты, Наташа! зачем ты бегаешь? Что бабка, верно, спит?

— Спит, дедушка.

— Вишь дворянка какая! туда же, после обеда отдыхать легла!

И он шел к бабушке в комнату, я за ним. Страх мой исчез... Дедушка подиес свечу к циферблату, с которым его голова приходилась почти наравне, хоть часы висели очень высоко.

— Наташа! уж седьмой час, пора бабку будить—самовар ставить!

Я ничего не отвечала, а все рассматривала часы и прислушивалась к их стуку: все было как обыкновенно. Совершенно успокоившись, я брала Брюссов календарь, а дедушка садился у кровати, барабанил по столу и своим ворчаньем будил бабушку.

ГЛАВА VII

Скоро я перестала гостить у бабушки: мне с братом Иваном приказали каждый день ходить к учителю музыки. Учитель наш, человек средних лет, не отличался ни умом, ни образованием, но был довольно добр к нам... Родители наши когда-то оказали ему услугу, не знаю какую, и маменька очень ловко намекнула ему, что теперь прекрасный случай отплатить за нее. Он им воспользовался, то есть согласился учить нас даром и с тех пор ни проливной дождь, ни вьюга, ничто не могло остановить нас; что бы ни делалось на земле и на небе, мы шли себе к учителю, удивляя прохожих своим костюмом... Брат ходил в шинели, из которой давно вырос; меня насильно облекли в старый маменькин теплый капот, которого юбку подшили, отчего она сделалась в половину короче талии, приходившейся почти наравне с моими коленями. Калоши, тоже маменькины, беспрестанно спадали у меня с ног, несмотря на огромное количество набитой в них ваты; наконец, я ухитрилась сделать из них сандалии, и только тогда они оказались полезными... В глубокую зиму на нас надевали длинные белые мохнатые сапоги, называемые «васьками», которые замедляли нашу походку и делали нас издали похожими на медвежат, сорвавшихся с цепи...

Учитель наш был женат, и часто семейные дела отвлекали его от уроков, к неописанному восторгу брата Ивана. Жена вышла за него по любви: учитель покорил ее сердце примерным безрассудством: в тридцать градусов морозу по целому дню бродил он мимо ее окон... Такое самоотвержение до того пленило молодую девицу, что она, несмотря на сопротивление родственников, сделалась его женой... С тех пор в доказательство любви своей каждый день припоминала она ему, что отказалась от многих выгодных партий для бедного музыканта,—и учитель был счастлив. Он вполне верил ей, да и нельзя было не верить после беспрестанных нежностей, которыми она осыпала его при всех... А о нежностях, которыми она осыпала одного молодого человека наедине, он не знал. Вся квартира учителя состояла из двух комнат. Из спальни в залу, где мы учились, дверь притворялась не плотно, и я часто видела в зеркало как жена учителя любезничала с своим мужем при молодом человеке, и с молодым человеком, когда учитель, вырвавшись из ее объятий, уходил к нам. Молодой человек почти жил у них. Он был очень беден, а жена учителя очень благотворительна: она упросила мужа приглашать его каждый день к обеду... Так текла их жизнь, пока жена учителя не начала уходить по утрам, говоря, что у ней болит голова, и что ей нужен воздух. Раз ее не было дома, а учитель занимался с нами; вдруг прибегает запыхавшись молодой человек и что-то шепчет на ухо учителю. Учитель побледнел, схватил шляпу, накинул шубу и в одну минуту, в халате и туфлях, исчез с молодым

человеком. Мы очень обрадовались, что урок наш остановился так неожиданно... Через несколько минут в спальню вбежала жена учителя; она переменила шляпку и салоп и опять ушла, сказав нам, чтоб мы не смели говорить, что она приходила домой... Явился учитель в таком бешенстве, что мы перепугались: он все ходил по комнате, хватал себя за голову и все повторял: «убью, убью его—и тебя тоже!» Молодой человек ходил за ним и старался его успокоить, но когда услышал, что раздраженный учитель хочет его убить, он спросил обиженным тоном:

— За что же меня-то? я чем виноват?

— Зачем раньше мне не сказал! ты сам говоришь, что сегодня не в первый раз...

Разговор их был прерван приходом жены учителя, которая с улыбающимся лицом пришла в комнату и протянула губы к мужу, сказав:

— Здравствуй, Кокоша...

Учитель с гневом отшатнулся от своей жены и громовым голосом спросил:

— Где ты была?

— Я гуляла, Кокошенька.

— Очень хорошо знаю, что ты гуляла... даже и не одна...

Жена учителя посмотрела с удивлением на своего мужа, потом на молодого человека и сказала:

— Ты с ума сошел, Кокошка!

— Нет, воскликнул учитель:—я не сошел с ума! Мы видели, как вы кинулись в сани, завидев нас. Я узнал вашу черную шляпку... Если бы тут случился извозчик, я бы вас догнал, сударыня!

И он грозно прошелся по комнате.

— Когда? как! с кем? в чем!

И вопросы оскорбленной супруги посыпались градом...

— Да вы посмотрите, что на мне надето, какая у меня черная шляпка? взгляните!..

И жена учителя бросила в лицо мужу свою желтую шляпку. Учитель и молодой человек смутились. Муж побежал смотреть салоп, а жена успела между тем с гневом погрозить молодому человеку рукой и назвать его подлецом. Учитель принес салоп жены и поднес его к самому носу изумленного молодого человека, с вопросом:

— Разве такие бывают меховые салопы?

Жена учителя горько заплакала и сказала:

— Вот что значит жалеть людей и делать им добро! Выслушай меня, Кокоша! он за мной давно ухаживает и хотел оклеветать меня за то, что я не хотела тебя обманывать и грозилась все сказать тебе.

Вопль оскорбленной добродетели наполнил комнату. Молодой человек видимо остолбенел от такого оборота дела; он раскрыл рот, но его оправдания были заглушены криками, угрозами и проклятиями мужа. «Вон, мерзавец! так вот как ты платишь за нашу хлеб-соль? Долой с глаз моих или я убью тебя!» И мне казалось, что учитель в самом деле готов убить молодого человека, который все кричал:

— Да позвольте...

— Вон! вон!

— Она вас...

— Замолчи, мерзавец!..

А жена учителя, между тем, из-за плеч мужа делала носы молодому человеку и всячески дразнила его... Наконец, его вытолкнули в дверь, которая чуть не расшиблась, так сильно ее за ним захлопнули... Жене учителя не много требовалось времени, чтобы из торжествующей физиономии сделать угнетенную и вздыхающую... Учитель, после напряженно-бурного состояния духа, вдруг совершенно оторопел и не знал, как подойти к жене. Наконец, после долгого молчания, он решился сказать:

— Пипиша, не сердись, я его выгнал.

— Еще бы вы его расцаловали!

И она сердито отвернулась от мужа.

— Ну, прости меня, я дурак, теперь никогда ничему не буду верить!

— Скажите, пожалуйста, как вы могли принять за меня другую?..

И жена учителя улыбнулась.

— Видишь, пипиша; я так был взбешен, так убит, что сам себя не помнил: вижу идет дама в меховом салопе с каким-то мужчиной... Я к ним, а они в ту самую минуту сели на извозчика и как нарочно проехали так скоро, ну, я и подумал, что ты...

Жена учителя залилась звучным хохотом. Учитель, видя что жена его хохочет, тоже начал хохотать. И они хохотали минут пять сряду...

— Ах, пипиша! посмотри: я в туфлях... так и ходил... ха! ха! ха!

И опять хохот, а потом послышались нежные поцелуи. Учитель, вспомнив нас, велел нам отправляться домой.

С того дня учитель предоставил жене полную свободу. Очень часто, перемигнувшись с каким-то мужчиной в окно, она нежно прощалась с мужем и уходила, а через минуту я видела, как не далеко от дому, она садилась в сани с тем же мужчиной и уезжала...

Когда учитель уходил на урок, оставляя нас одних протверживать старое, дверь в нашу комнату затворялась и я слышала за стеной мужской голос, смех жены учителя и поцалуи...

. . . .

Мы переехали на новую квартиру; антресолей уже не существовало... В будни я страшно скучала, дожидаясь с нетерпением субботы, когда соберутся братья... Состры Соня и Катя превратились в больших девиц, а тетенька Степенида Петровна, напротив, помолодела, убавив себе несколько лет и начав зачесывать волосы, как сестры.., Ей не хотелóсь казаться старше их...

Однообразие детской нарушалось только посещениями одного бедного чиновника, Якова Михайловича, который обыкновенно уходил на нашу половину, когда другие гости садились за карты... Ему, кажется, очень нравилась сестра Софья, которая кокетничала с ним от скуки... Но Степанида Петровна частые посещения его приняла на свой счет, и надежда на замужство снова запылала в ее сердце.

Дяденька, между тем, ездил к нам чаще и чаще. Страсть к картам произвела в нем переворот: он сделался рассеян, реже наказывал своего племянника, он даже начал видеть сны,— в которых главную роль играли карты, — чего с ним прежде решительно не случалось... Цере-

мониться с племянницами он не любил; поздоровавшись обыкновенным своим способом, посидев и поговорив единственно для собственного удовольствия, потому-что никто другой не обладал тайной находить его слова остроумными и даже понятными, дядюшка вставал, брал со стола свечу и мерными шагами удалялся. Возвратившись минут через пять, он с тою же спокойной важностью ставил свечу на стол, потирал руками и, обращаясь к которой-нибудь из нас, говорил: «дас ис кальт», — выражение, которым ограничивались познания его в иностранных языках... В залу он входил глубокомысленно.

— Здравствуйте, Кирила Кирилыч! здравствуй, сестра!

— Здравствуй, Семен!—холодно отвечала маменька.

— Ну, сестра! как я сегодня высек Федора!..

И дяденька чмокал, приложив к губам пальцы свои без ногтей...

— Чудо! если не подействует, так уж я право не знаю! Он просиживал за картами часов до трех ночи, а по утрам мрачно ходил по комнате, бормоча себе под нос:

— Ах я дурак! дурак! мне бы пойти с десятки,—или бранил домашних...

Раз подходя к дому, мы увидели дедушку, как всегда в фризовой шинели с бесчисленным множеством воротников, и в высокой четвероугольной шапке с таким козырьком, который в длине не уступал его носу. Дедушка на улице и не в праздник — такое явление нас удивило. Мы побежали к нему.

— Здравствуйте, дедушка!

Дедушка шел скоро и что-то говорил сам с собою; наше неожиданное приветствие испугало его.

— А! кто меня зовет?—закричал он вздрогнув, но увидав нас прибавил:—А, вы! ну, здравствуйте!

— Вы к нам, дедушка?—спросила я.

— Куда ж больше? Сын родной выгнал... чуть не ударил... а бабка ваша чуть тоже не прибила... Ах, господи ты мой, не даром сказано: родившемуся под планетой Сатурна в рассуждении душевных качеств—злость и негодная жизнь, любят нечистоту; словом имеют все негодные качества душевные и телесные.

И дедушка кашлял.

— Пойдемте, дедушка! На нас смотрят.

— Пусть смотрят! Я всем скажу, что меня родной сын выгнал... Фу! как устал! бежал как угорелый. Такой разбойник! а та и рада, что ее родной сын буянит. Да какой сын—он антихрист какой-то!

И дедушка качал головой и махал руками, как сумасшедший...

Мы пришли домой. Дедушка настоятельно пожелал тотчас же видеть маменьку. Ее уже предупредили о ссоре отца с сыном; она поздоровалась с дедушкой очень холодно и прямо спросила:

— Что у вас опять там?

— Ах! И слезы мешали дедушке продолжать...

— Да говорите же, батюшка, что у вас с Семеном?

— Да что! сын родной чуть не ударил отца,—вот какие времена пришли! Такой разбойник... а вашего сына до смерти засечет!

— Ну и хорошо сделает!

Маменька посмотрела на нас.

— Уж ей богу не знаешь, что делать, что говорить: сын выгоняет отца, жена ругает мужа, мать радуется, как сына мучат!

Дедушка зажал себе уши и в каком-то исступлении начал ходить по комнате...

— Да, скажите, что же я буду делать? Ну, вы поссорились с своим сыном?..

— Поссорился?.,

И дедушка весь задрожал.

— Нет! он меня чуть не ударил! Я жаловаться пойду!

И он заплакал.

— Полноте вздор-то городить!

Маменька хотела уйти, но дедушка удержал ее, закричав:

— Да погодите! выслушайте отца, которого сын родной...

Маменька перебила его:

— Чего же вы хотите?

— Я не могу жить с женой; она мотовка! Как в кураже, с ней не сладишь, так и лезет драться...

— Где же вы хотите жить?

— Где-нибудь, только не с женой! Тридцать лет жили вместе: все шло хорошо! Вдруг как белены объелась, каждый день давай денег, ругается зачем мало даешь, грозится все деньги отнять... А какие у меня деньги? Откуда? А все, я вам скажу, проклятое вино: баба дура, выпила и пошла беситься!

— Ну, знаю, знаю!..—перебила маменька.— Хорошо, я вам дам комнату, платите мне тридцать пять рублей в месяц; обедать будете в детской... Хотите, так оставайтесь.

И она ушла, не дождавшись ответа.

Дедушка задумался: тридцать пять рублей его поразили, но страх победил скупость.

— Лучше буду последнее отдавать, да не жить с ними!—воскликнул он решительно, и только теперь заметив, что маменька уже ушла, прибавил в отчаянии:—вот до чего дожил: сын буянит, жена ругается, дочь не хочет слушать. Господи!

Чтоб успокоить дедушку, ему предложили водочки. Выпив, он стал говорить складнее.

— Сегодня я встал, вижу жена так и шипит, словно змея, пьяна уж третий день сряду! Входит сын, я ему поклон, да и говорю: Уйми свою мать, Семен, она меня прибьет. А он, разбойник, держит в зубах трубку и молчит, точно без языка! Жена ну кричать и ругаться, так и лезет ко мне. Я плюнул и прочь от греха... Известно, баба дура: умрет, а на своем поставит, в реке тонет, а два пальца выставила, да и показывает, что стриженый, стриженый...

Дедушка всегда приводил в пример женского упрямства знаменитую басню о бритом и стриженом.

— Да за что же вы с дяденькой поссорились?— спросил кто-то из нас.

— Отцу старые кости погреть не дадут! Расхорохорился, начал кричать на отца: «не закрывать рано трубу; угар будет!» (Тут дедушка передразнил голосом своего сына). Я ему говорю: «так

по вашему дрова даром, что ли жечь? на воздух топить?...» А он на меня как закричит, а жена то, мотовка, стоит в дверях, зубы скалит, да приговаривает: «так и надо, хорошенько его, Семен!» Ну, ей богу он ударил бы, не убеги я из дому; думаю, пропадай себе добро, уйти от беды, да поскорей и навострил лыжи...

— Полноте, дедушка.

— Нет, я уж давно заметил, что они как-то странно на меня поглядывают, у них глаза-то точно у злодеев...

Наконец нам надоело слушать дедушку, мы понемногу разошлись и он остался один. Облокотясь локтем на стол, он поддерживал рукой свою голову, скрипел зубами, прихлебывал пунш и по временам говорил:

— Разбойник! отца гнать... Тридцать лет жили вместе... не даром сказано...

И в сотый раз повторив то, что не даром сказано, он сразу допил стакан и улегся...

От сидячей, затворнической жизни, от болезни, от старости дедушка с каждым годом становился трусливее и легковерней. Брат Иван в несколько дней совершенно завладел им: он так его понял, что угадывал его желания, и только ответами брата удовлетворялся любопытный дедушка. Иван спал в одной с ним комнате. То-то раздолье дедушке! Надев белый вязанный колпак, старик вытягивался во весь рост на кровати, покрывался истертым шерстяным одеялом, выставив одно худое лицо свое, с длинным, немного кривым носом, и пускался в бесконечные рассказы о том, как родной сын хотел выгнать его из дому, как тридцать лет жил он

с мотовкой, женой своей, как в несчастный день ничего не должно предпринимать... Брат давно спал, но дедушка все еще говорил, говорил, пока шевелился язык... Но особенную деятельность обнаруживал дедушка по утрам, когда топили печь. Едва огонь охватывал дрова, он вооружался длинной кочергой, садился против печки и сладострастно следил за возрастающим пламенем, прислушивался к треску дров, которому вторил поскрипыванием зубов. Дрова пищали, свистели, иногда стреляли, при чем старик вскрикивал и сердился, зачем сыры дрова и зачем дорого куплены. Клетка дров разрушалась, падала в беспорядке; дедушка с любовью подталкивал головешку в пламя, постукивал ее и радовался, когда она опять загоралась. Наконец, когда дрова превращались в огненную гору, а дедушка в розовый уголь, он загребал уголья к одной стороне, подозрительно оглядывался, не следят ли за ним, и если в комнате никого не было, поспешно закрывал трубу и становился к печке, чтобы отвлечь от нее внимание... Его сожаление, что не позволяют ему заведывать печками целого дома, не имело границ!

По воскресеньям, когда собирались братья, дедушка никогда не мог высидеть обед до конца. Наш беспрерывный говор, мешавший ему говорить, называл он своеволием и восхвалял старое время, когда говорили по старшинству... Если мы рассказывали друг другу что-нибудь любопытное, дедушка хотел непременно знать: за что? почему? как? кого? а между тем, был туг на ухо. — А? что? не слышу! И дедушка

чистил себе мизинцем ухо и подставлял его к самому рту рассказчика.

— Кто, а?

— Маменька проиграла в карты.

— Слышу, слышу... Вишь как кричит, точно дом загорелся! Ну, он приехал, мать выиграла?..

Ваня мигом избавлял нас от докучливого соседа, и вот каким способом. Дедушка, вычитав в Брюссовом календаре, что между 15 февраля и 15 марта должно опасаться покушения на жизнь, очень боялся насильственной смерти. Брат объявил ему, что в лунные ночи на него находит какое-то бешенство — все хочется душить и резать. Дедушка заглянул в календарь; так точно! «Отроче, родившийся под такою-то планетой, подвержен припадкам безумия, ему очень вредна говядина».

А брат нарочно протягивал тарелку во второй раз:

— Тетушка, пожалуйте еще говядины!

Дедушка вертелся на стуле, охал и говорил:

— Господи! взбесится! взбесится! Посмотрите: у него уж и так глаза налились кровью!..

Брат делал: брр! мотал головой и таращил глаза на дедушку... Старик в ужасе вскакивал из-за стола, махал руками и кричал:

— Нашло! нашло!

Вечером часов пять сряду он доказывал тетушке вред говядины, ссылаясь на свой календарь; но на брата долго сердиться не мог, а тотчас опять подчинялся его влиянию и даже ничему не верил, чего не подтверждал брат. Если брату хотелось пряников и сухарей, он отправлялся к дедушке.

Старик лежал растянувшись на своей кровати и поскрипывал зубами.

— Дедушка,—говорил брат.

— Что тебе, Ванюша?

— Да что-то болит голова.

— А зачем давеча орал на весь дом? до сей поры в ушах звенит!

— Ах, дедушка! поневоле станешь кричать, взгляните на месяц: сегодня полнолуние... Нашло, так говядины и хочется,—пойду съем!

Но дедушка быстро вскакивал с кровати, шарил в ней и вытаскивал далеко запрятанный пряник.

— На, только бога ради, не ешь говядины!

Довольный внук убегал, а старик потихоньку высовывал голову в детскую, и уверившись, что внука тут нет, таинственно говорил тетушке:

— Дайте вы Ванюше к чаю сухарей!

Тетушка пыталась его образумить: напрасно! Он ссылался на календарь, потом переходил к сыну-разбойнику, к жене-мотовке и заключал басней о бритом и стриженом...

Дедушка сердился, что ему редко доводилось видеть зятя и дочь, но жаловаться не смел. Случалось, отец наш приходил завтракать в детскую, тогда дедушка выходил из своей комнаты, низко кланялся ему и говорил иронически:

— Наконец увидел вас! кажется, недели две не видались. Как ваше здоровье?

— Здоров, батюшка. А ваше?

— Что мое?.. плохо-с. (Дедушка кашлял). Проклятый кашель душит.

— Да вы бы пошли прогуляться, погода хорошая.

— Прогуляться? нет, покорно благодарю.

— Отчего-же, батюшка?

— А вот месяцев шесть тому вышел я погулять, да чуть жив домой пришел: шум, крик, суета! Улицу хочешь перейти, не дают, разбойники, так и едут на тебя, будто не видят, что человек идет. А как гаркнут «пади»!—ноги подкосятся от страху! На тротуаре толкотня. «Ну, не видишь, что-ли? важная птица! давай дорогу!..» Дедушка плевал в сторону и махал рукой. — Бывало, каждый давал дорогу друг другу, а ныне так и лезут на тебя, точно задавить хотят!

— Вы устарели, все дома сидите, вот вам так и кажется.

— Нет-с, извините, нынче времена такие. Сказано, что́ настанет время, когда брат будет брату злодей, — где море, там земля будет,— исчезнут целые города и на их месте дремучие леса выростут, лютыми зверями обильные...

— А скоро будет такое время, батюшка?— смеясь, спрашивал отец.

— Смейтесь! Вам все смешно, а вот Ванюша... он намедни мне предсказал, говорит: к худу... Так и вышло!.. А все северное сияние...

— Какое северное сияние?

— А вот какое: сижу вечером без свечки— вижу: на небе северное сияние, так и играет... Я за Ванюшей; указал ему на небо: «Видишь, Ванюша?» —Вижу, дедушка.—«Ну, к худу или к добру?» —К худу, к худу, дедушка.—И что же бы вы думали? разбил чашку! сам не знаю, как выскочила из рук!

— А вот я вашего пророка высеку.

— Так! знал, что не поверят! Только бы сечь да бить! Вот и сын родной такой же злодей...

Дедушка сердился, упрекал, грозил, припоминал сына злодея, жену мотовку и, наконец, в отчаянии убегал из детской, крича:

— Господи, господи, какие времена!..

Раз, чтоб сколько-нибудь рассеять дедушку, отец принес ему какой-то старый журнал:

— Вот вам, батюшка, почитайте, получше вашего календаря.—Дедушка с сожалением улыбнулся, взял книгу и читал ее ровно год, потому что, если ему замешают, он уже никак не мог найти, где остановился, и опять начинал с первой страницы, удивляясь умной голове издателя, который по его мнению, один сочинил такую огромную книгу; он разделял свое удивление с нашим человеком Лукой, когда тот стоял с огромным подносом, пока тетушка поставит ему стаканы с чаем. Дедушка, кажется, считал унизительным, поверять слуге свои семейные тайны, и потому разговор их вертелся всегда около литературы и политики. Лука был очень добрый человек, малорослый, с гладкой лысиной и сморщенным лицом, напоминавшим мерзлое, оттаявшее яблоко. Прежде он служил денщиком, был в турецкой кампании и, рассказывая братьям свои походы всегда говорил: «мы взяли крепость, мы побили турку». Дедушка, завидуя, что его слушают, старался сбить и сконфузить его, озадачивал его вопросами из календаря и злобно смеялся его невежеству. Но братья, на зло дедушке, заставляли Луку рассказывать про старого барина и походы.

— Вот-с мы отправились в поход, идем-с... мороз страшный... кто нос, кто ухо, кто ноги... Вошли в тепло, хвать—уж и поздно! Фельдшера за бока: резать!

При слове резать дедушка менялся в лице и поскорее перебивал Луку:

— А хитер турка, даром что у них пасха бывает в пятницу... а вот у жидов так в субботу.

— Да-с видал и жидовок.

И глаза Луки, пристрастного к жидовкам, принимали нежнейшее выражение.

— А что, хороши?

— Кажись, нет их лучше, даром что нехристь: глаза черные, черные, нос длинный, бровь дугой—черная, черная... Раз барин увез жидовку к себе: плачет, болтает на своем проклятом языке, размахивает руками... смотришь, ничего не понимаешь,—язык показывать начнет! Барина-то дразнить не смела, так меня,—чудная такая! Жид, отец ее, приехал,—в ноги,—а барин мой молодец: глаза черные, волосы черные, а уж сила просто чертовская: хватит, так три дня ухом не слышишь—шумит! Вот-с,—продолжал Лука, подвигаясь к столу, чтобы принять стаканы:—начал он жида-то таскать, да приговаривать,—такой шутник: вот тебе, жид проклятый, вот тебе дочь!

— Смотри, уронишь стаканы!—кричал дедушка.

— Нет-с, не уроню, мы в походах и раненых таскивали на плечах, да не роняли!

— Чаю!—раздалось восклицание маменьки, которая отличалась удивительно звонким голосом, заменявшим ей колокольчик. Все засуети-

лись, и смущенный воин, вместо раненого собрата, потащил в залу огромный поднос.

Как только он ушел, дедушка начал уверять братьев, что он все лжет, ничего не знает, а по возвращении Луки с язвительной насмешкой спросил его:

— Ну, ты бывал в походах, а знаешь ли, что такое Сатурн?

— Как же с, мы штурмом и крепости брали.

— Ну, так угадал! Сатурн—планета, планета! Родившиеся под ее влиянием бывают: скупы, хитры, нелюдимы!

— Дедушка, так вы верно под ее влиянием родились?

— Постой, не перебивай! Нелюдимы, нелюбимы, памятозлобны, но трудолюбивы... В сии годы примечать должно, какие перемены бывают: весна холодная, лето холодное с ветром, но июль теплый. Осень холодная, но ноябрь теплый. Жнивы мокрые, яровые худы, вина мало, прибыточно закупать. Молния и гром редко, рыбы мало. Младенцы весной страдают оспой, корью, кашлем и...

— Знаем, все знаем, дедушка! Лучше пусть Лука рассказывает про жидовку!

Но дедушка без запинки продолжал, стараясь перекричать братьев:

— Великие перемены в некотором государстве; новый образ правления в некоей республике; славное побоище, великий государь воцарится; а всего такого должно ожидать в 1841 или 1869, а не то в 1925 году.

— Ай, дедушка! да уж вас тогда и на свете не будет... сгниете!..

Дедушка с ужасом вскакивал, хватал себя за голову и кричал: «Ну, дети! слова старшему сказать не дадут!» А братья топали, выли волками, свистели, и он, наконец, убегал в свою комнату, оставляя ораторствовать одного Луку, который сопровождал бегство своего соперника победоносным взглядом.

— Ну, Лука, скажи нам теперь о жидовке.

— Ну, вот с, мы живем; жидовка наша плакала, плакала да и перестала, только бледная, знаете, такая стала. Барин все ее держит, ему говорили товарищи: «брось ее, вишь какие у ней глаза-то», нет—говорит—вышколю! Раз говорит ей: поцалуй руку, а она смотреть начала, точно не понимает. А ведь я наверно знал, понимала понашему! Барин показывает ей руку: поцалуй!—качает головой. А он, царство ему небесное, был горяч, раз лошадь не послушалась, он соскочил с нее, да как порснет саблей в живот, так и хлопнулась! А после сам говаривал, что он ее страх как любил, да, знаете, час такой...

— Ну, а жидовка?

— Ах, — и Лука тяжело вздохнул.—Не поцаловала, дура, хоть кого злость возьмет, барин как вскочит, да хлоп ее в лицо, та и покатилась, я вам говорю, точно муха, и лежит... Мы ее тереть тем, другим—все лежит, только, знаете, вздрагивает. Барин ушел, а мне не велел уходить; сижу. Она, как вы изволите думать? встала, да бух мне в ноги. Дай я, вишь, ей ножик. Нет, говорю, не дам. Она плакала, плакала, а потом принесла мне денег, много денег; все барин ей надавал, уж чего он ей не дарил? Я говорю ей: боюсь! Сами изволите знать, дай ей нож — пожа-

луй и самого зарежет. Легла на кровать. Слышу копошится, глядь, а она и висит, да ногами подергивает. Я так и обмер, бегу вон, ну кричать: сюда, сюда! Собрались, развязали: еле дышит. Барин пришел бледный как смерть,—за фельдшером, за доктором! Пустили кровь, наша жидовка открыла глаза и так чудно смотрит... С тех пор стала тихая такая, даже весела бывала,— вино с барином пила... Вот пили они, да пили, вдруг раз прихожу домой: жидовки нет, а барин лежит на полу весь в крови: горло бритвой перерезано!..

В ту ночь мы долго не могли заснуть, и нам снились страшные сны.

ГЛАВА VIII

Народонаселение детской неожиданно увеличилось. В одно утро маменька возвратилась с похорон сослуживца своего мужа вся в слезах, с дочерью покойника—девочкой лет четырех. Покойник был вдовец; дочь лишилась в нем единственной опоры, даже родных у нее не было. Долго толковали, что делать с сиротой, но никто не решался взять ее. Тогда маменька выступила вперед, взяла у няньки девочку и, поцаловав ее сказала: «бедная сирота, я заменю тебе мать!» Она прижала ребенка к сердцу и заплакала, ребенок также заплакал и закричал: «няня, няня!» Гости пришли в умиление, но, удивляясь великодушию маменьки, говорили ей: «мало вам своих,—еще чужого берете», на что маменька отвечала с достоинством: «так по вашему ребенка оставить без пристанища, на руках няньки? нет, это безчеловечно!» И она зарыдала и еще раз поцаловала ребенка, который занялся рассматриванием ее серег и деятельно вертел ей ухо. Она очень сердилась, что кормилица, прощаясь с ребенком, плакала, и запретила ей приходить к нему... Отец, заметив прибыль в доме, сказал жене: «вот охота возиться, мало своих, что ли?..» и больше уж никогда не интересовался судьбой сироты.

Наигравшись в куклы, к вечеру ребенок захотел спать, звал свою няню, плакал и злился. Маменька сдала его в детскую и приказала уложить. Множество чужих лиц еще сильнее напугало девочку, она кричала: «хочу домой! няня! няня!» и крики ее были страшны; она как-будто предчувствовала свою участь и хотела от нее избавиться. Маменька, утомленная криками своей воспитанницы, сама пришла ее утешать, но девочка не унималась. Потеряв терпение, благодетельница погрозилась высечь сироту и ушла за карты, а гостям объявила, что ребенок плачет по ней, и очень удивлялась инстинкту детей, которых довольно раз приласкать, чтобы привязать к себе навсегда... Мы совершенно измучились с девочкой, которую звали Лизой. У ней сделался жар. Она уже не могла ни плакать, ни кричать, а только стонала. Наконец, брат Иван ухитрился утишить ее разными рассказами и уверениями, что няня сейчас придет. Лиза крепко обхватила его своими ручонками, положила ему на шею свою головку всю в огне и заснула...

С того времени брат Иван сделался ее второй няней. Она бежала под его защиту, если за ней с угрозой гнался меньшой брат. Если ей хотелось есть, Иван тотчас чувствовал припадок бешенства, и дедушкины сухари утоляли голод Лизы. Игрушки брата перешли в ее владение: гостинцы он тоже отдавал ей; когда ей хотелось что-нибудь видеть, а другие заслоняли, он брал ее на руки...

Дедушка также полюбил Лизу. Она охотно его слушала, охотно отвечала на его бесконечные расспросы: что делается в детской, в кухне? где сколько

горит свечей, как печи закрывают?.. С своей стороны он рассказал ей, как родной сын хотел выгнать его из дому, какая у него жена, и объявил ей, что отроковица, родившаяся между 15 июня и 15 июля (время рождения Лизы), будет нрава веселого, толста, много потерпит стыда от разных паговоров, а в замужстве будет иметь странные сновидения...

Словом, с появлением Лизы, жизнь дедушки одушевилась, стала полней и шире.

А жизнь самой Лизы скоро сделалась одинакова с нашей. Маменька сначала брала ее к себе, но девочка сердила ее своими капризами. Наконец, раз она просыпала нечаянно табакерку и получила удар, при чем имела случай удостовериться, что не всегда легка рука благодетельницы... И с той поры сирота совсем затерялась между нами, и маменька забыла о ее существовании. У ней не было ни своей подушки, ни одеяла; ее платье износилось. Мы дали ей свои обноски, из разноцветных лоскутков сшили передник... благодетельница не замечала, что пора прикрыть наготу своей воспитанницы. Ей напомнили, она с гневом отвечала: «Мало мне своих, еще о чужих думай! Спала же прежде, отчего же теперь вдруг все понадобилось?» Тетенька Александра Семеновна переделала сироте свои старые рубашки и платья и еще защищала маменьку. Выпросив у ней какой-нибудь лоскуток, она уверяла, что маменька сама догадалась подарить его Лизе. Воспитанница не могла видеть своей благодетельницы без ужасу. Заслышав ее шаги,—а у маменьки была такая походка, что ее шаги напоминали командора в Дон-Жуане,—си-

ротка, дрожа и бледнея, пряталась за наши платья, за комод, куда попало, а чаще всего убегала к дедушке, куда маменька никогда не заглядывала... При виде маменьки, кукла выпадала из ее рук, кусок останавливался в горле, и она смотрела на нас так жалобно, как будто просила защиты. Но ее страх был напрасен; маменька отдавала приказание тетеньке, бранила нас и уходила, не бросив даже взгляда на испуганное существо, обязанное ей столькими благодеяними...

Скоро семейство пошло на убыль... Брат Миша являлся домой от своего учителя очень редко. Он вырос и похорошел; ему было лет шестнадцать, но на лицо он казался восемнадцати. Он был высок и широкоплеч. У него лицо было смугло-бледное, с черными, как уголь, глазами, с необыкновенно густыми и длинными ресницами, с бровями удивительно красивой формы. Волосы его, черные и волнистые, вечно в беспорядке, придавали ему какой-то отважный и строгий вид. Зубы, рот—все в нем было удивительно хорошо, одно отталкивало: вечно серьезный, даже мрачный взгляд и жосткость в манерах. Он походил немного на отца, который, кажется, питал к нему что-то в роде любви: он больнее его наказывал и чаще с ним говорил. Раз как-то Миша не был у нас с месяц и вдруг явился запыхавшись, бледный, взволнованный. Он объявил тетеньке Александре Семеновне, что убежал от учителя, который хотел его наказать: «Я решился ехать на Кавказ», сказал он: «и пришел просить о том отца и мать...» Тетенька залилась слезами и начала его упрашивать: «Миша, что ты делаешь? отец тебя засечет, поди назад».

— Нет, уж извините! не боюсь я сечения и все-таки уйду на Кавказ!

И он пошел прямо в залу.

Маменька дремала на диване в ожидании Кирила Кирилыча и других гостей; стол для карт был уже готов. Увидя своего сына, она вскочила и грозно спросила: каким образом? зачем ты пришел?

— Мне нужно,—отвечал брат твердым голосом.

— Что!.. Как? И маменька, полная величия, поднялась с дивана и хотела подойти к брату, но снова села, потому что он предупредил ее и подошел к ней. Она смутилась от такой дерзости, но скоро пришла в себя и спросила:

— Чего ты хочешь?..

— Я хочу ехать на Кавказ и пришел просить вас и отца отпустить меня.

— На Кавказ!.. да я тебя, щенка, засеку!

— Хоть убейте, а все-таки буду говорить: хочу на Кавказ! Не вы ли сами попрекали меня, что я мерзавец все ленюсь, что отец с матерью раззоряются на меня—вот я теперь и избавлю вас от расходов!

Маменька не верила своим ушам (она думала, что хорошо приготовила детей своих к повиновению) и до того смешалась, что с минуту молчала... Наконец, она сказала язвительно:

— Хорошо!.. ступай, я скажу отцу!

Но брат стоял на том же месте и не двигался. Изумленная она закричала:—я тебе говорю: иди!

— Я пойду... не кричите... только дайте мне дождаться отца, пока он встанет, а то вы, пожалуй, наскажете ему бог знает чего!

— Да ты с ума сошел! ты пьян! Я велю тебя выгнать вон из дому!—закричала мать.

— Сам уйду, нога моя... дико начал брат, но, увидав бледного отца, появившегося в дверях, смешался и не договорил...

Заметив мужа, маменька заплакала, пересказала ему все с разными прибавлениями и в заключение объявила, что сын нагрубил ей.

— Я не грубил вам, маменька,—заметил брат.

— Слышишь, Андрей... да он пьян, мерзавец!

— Замолчи!—сердито сказал ей отец и сел на стул у карточного стола... Взглянув на него, она притихла и уж не сводила глаз с своего мужа, который как-то странно сжимал губы...

— Зачем ты ушел от учителя? строго спросил он своего сына.

Тот замялся и ничего не отвечал.

— Ну, говори же?

И отец еще больше побледнел.

— Я хочу ехать на Кавказ,—робко сказал брат.

Отец нахмурил брови и молчал... Он сжал колоду нераспечатанных карт, лежавшую на столе, и карты, жалобно крякнув, вырвались на свободу... Он спросил глухим голосом: разве тебе худо у отца и матери?

— Нет с... но маменька все попрекает...

— Слышишь, Андрей?—жалобно начала маменька.

— Да замолчишь ли ты?—закричал отец и с гневом отбросил измятые карты, которые рассыпались по столу и мучительно выгибались, освободившись из его рук. Маменька, посмотрев на них с состраданием, возвела глаза к потолку и шевелила губами, будто читая молитву.

— Зачем ты ленишься?—спросил брата отец.

— Я не ленюсь, папенька... Я просто хочу ехать на Кавказ служить... Маменька все бранится... даже сапогов не дает...

— Гм!—сказал отец, и лицо его изменилось. Даже маменька не смела оскорбиться замечанием сына и молча смотрела на мужа.

— Ну, а если я тебя не пущу на Кавказ, а заставлю учиться... а?

Миша молчал и смотрел вниз...

— Я тебя спрашиваю!—сказал отец, и знакомые нам признаки бешенства начали ясней показываться на его лице: глаза его налились кровью, а губы посинели; весь дрожа, он немного поднялся со стула... Взгляд его, казалось, жег сына, и он тихо и нерешительно отвечал:

— Я не хочу учиться, я уеду на Кавказ.

— Не хочешь?—спросил отец таким голосом, что сын побледнел, но как будто решившись на отчаянный поступок, наконец посмотрел на отца и твердо произнес:

— Нет!

Мы стояли за дверьми и едва дышали; я готова была кинуться к ногам брата и умолять его сказать «да»... Но сил у меня недостало двинуться с места: так страшно казалось нам лицо отца... Маменька слушала их разговор с каким-то напряженным вниманием, и когда брат вызвал отца на безрассудный бой она невольно вскрикнула: ах!

Брат, прежде стоявший с поникшей головой теперь гордо выпрямился и прямо смотрел на бледное и угрюмое лицо своего отца, будто желая прочесть на нем свою участь... Тишина по-

давляющая длилась несколько минут. Отец первый прервал ее, встал со стула и сказал сыну: пойдем ко мне в кабинет, там переговорим.

И брат твердо пошел за ним...

Мы с ужасом отхлынули от двери. Тетенька Александра Семеновна навзрыд плакала о своем племяннике, которого она очень любила и больше всех баловала. Отец запер кабинет изнутри: как узнать, что там говорят? Я кинулась к дедушке, комната которого была подле кабинета: авось там слышнее будет. Войдя к дедушке, я увидела его на коленях, в углу. Бледный и дрожащий, он то простирал руки к образу, то зажимал себе уши и шептал задыхаясь: господи... он убьет его... родного сына... господи, не попусти ему...

И дедушка упал навзничь... Сначала я не могла понять, что сделалось с дедушкой, но вдруг знакомый звук длинного арапника поразил мой слух... Удары медленно следовали один за другим с шипеньем и взвизгиваньем, и каждый сопровождался коротким вопросом отца, — но другого голоса не было, не слышалось ни слова, ни звука в ответ,—за стеной наступала глубокая тишина, как будто удары и вопросы не относились к живому существу... И я уже начала думать, что отец один в кабинете и разговаривает сам с собою... Но вдруг послышался слабый и мучительный стон... и скоро стоны начали явственней повторяться за каждым ударом, не было уже никакого сомнения, что стонал брат!.. С ужасом взглянула я на дедушку, который уже потерял способность говорить и только пальцами показывал мне на дверь кабинета... Я бросилась к тетеньке Александре Семеновне

и со слезами рассказала ей все; она побежала в кабинет, но столкнулась в дверях с братом... Бледный и искаженный, он дрожал как в лихорадке, лицо его немного припухло и судорожно подергивалось, редкое и тяжелое дыхание с трудом выходило из его груди... Мы все молчали, не решаясь расспрашивать его; он схватил свою фуражку, поглядел на нас насмешливо, сказал: «прощайте, я еду на Кавказ», и вышел... Тетенька Александра Семеновна побежала за ним, но он уже исчез...

С того дня он почти не жил дома: тетенька слегла в постель, а отец, убедившись, что ему трудно переломить упрямство сына, согласился на его отъезд... Брат поспешил надеть юнкерскую шинель и решительно ни о чем больше не говорил, как о Кавказе. Отец начал посещать нашу детскую и все рассуждал с ним о Кавказе и о стрельбе, в которой брат дошел до совершенства. Мать очень огорчилась и сердилась на отца, что он своей слабостью поощряет детей к неповиновению. Один знакомый отцу полковник ехал на Кавказ и взялся довести туда брата.

Наконец настал день отъезда. С утра начались хлопоты и слезы; я плакала, но втайне завидовала брату, что он уезжает из родительского дому. Наступил час прощанья. Маменька потребовала к себе сына и долго оставалась наедине с ним; когда он возвратился в детскую, мы стали спрашивать, что она с ним говорила? он отвечал: «она теперь поет другое, да уж поздно». Дедушка мрачно ходил по детской и все охал, как можно «такую картину» посылать на Кавказ: там какой-нибудь изверг черкес убьет его или изувечит...

Отец был очень мрачен и все что-то толковал с полковником. Он ехал их провожать и поминутно торопил, чтобы скорее прощались. Наконец подали лошадей. Все хлынули в залу, а больную тетеньку почти внесли туда на руках и посадили на диван. Маменька начала распоряжаться: она приказала всем сесть но местам. Уселись: настала тяжелая тишина. Она встала и все встали за ней; ломаясь, она взяла образ благословила им сына, со слезами поцеловала его в лоб и трагически сказала: «Бог с тобою! да будет над тобою всюду мое материнское благословение!..» Затем, обратясь к полковнику, она просила, чтоб он смотрел за ее сыном, и рассказала ему, как сердцу матери больно отпускать родное детище в такую даль... Отец остановил ее с досадой... Он не прощался с сыном, а все торопил других, повторяя: «скорей, пора...» Дедушка охая поцаловался с своим внуком и тихонько всунул ему в руку беленькую ассигнацию, шепнув со слезами: «вот тебе, Миша, на табак!..»

— Прощайте, дедушка, благодарю вас.

Брат побледнел, когда обратился к больной тетеньке Александре Семеновне. Она задрожала и слабо взвизгнула. Брат хотел скорее покончить прощанье, но она обхватила любимого племянника слабыми своими руками и, цалуя его, раздирающим голосом говорила: «Миша... береги себя... не забывай нас...»

Побледнев еще больше, отец сказал сердито:

— Полно, Саша, ему пора ехать.

Зарыдав, тетенька освободила из объятий прослезившегося племянника, который начал прощаться с нами... «Прощай, Федя... прощай

Соня... прощай Таня...» и чмоканье, смешанное с неровными звуками сдерживаемых рыданий, раздалось в зале... «Прощай, Миша...» и я крепко прильнула губами к бледным щекам брата... «Прощай, Наташа...» Рыдая, я вынула из кармана передника кисет своей работы, сшитый из лоскутков, и подарила его брату, который сказал:—спасибо, у меня теперь будет два.— «Прощайте, прощайте, прощайте...» И долго еще звучало в моих ушах «прощайте», и такая тоска давила меня, что я хотела разбить себе голову об стену. Мы проводили брата до коляски... Начали садиться... и тут я вспомнила больную тетеньку, которая одна осталась в зале--силы не позволяли ей сойти вниз... я кинулась к ней; она тоскливо поглядывала на дверь, но, увидав меня, обрадовалась и с испугом спросила:

— Уехал?

— Нет еще.

И я подвела больную к окну.

— Скоро?—спросила она, дыша тяжело и слабо.

— Сейчас поедут. Ах, вот, вот он!

Коляска выехала из ворот и шибко промчалась мимо окон. Я кланялась, махала брату рукой... Он нас увидел и стал тоже махать нам... Тетенька вся превратилась в зрение, и когда коляска скрылась, она пошатнулась и упала на стул; губы ее были бледны, глаза закатились, с ней сделался обморок...

ГЛАВА IX

Должно быть маменьку очень огорчил отъезд сына; она вспоминала его всякий раз, как приходилось бранить братьев:—«Пусть попробует кто попроситься на Кавказ, я и без отца слажу!..» Дяденька объявил ей, что пора Федора отдать куда-нибудь в казенное заведение,—«вот, слава богу!»—воскликнула она с гневом: «не успела одного отправить, думай о другом! уж лучше разом всех отослать на Кавказ!..»

А брат Федор ожил у дяденьки, который так пристрастился к картам, что ходил к нам играть каждый день, а по утрам раскладывал гранд-пассьянс, если выходило, он самодовольно потирал руки и в глубоких соображениях прохаживался по комнате, а нет, так ложился спать,— и дня как не бывало!

Бабушка отпустила своего внука из дому со слезами. Но внук радовался, что наконец избавился от своего дядюшки, при виде которого и потом долго еще менялся в лице...

Бабушка так привыкла к ссорам с дедушкой, что скучала своей новой жизнью, и с горя удвоила свою порцию вина. Что моя за жизнь!— говорила она нам:—не с кем слова сказать. Как еще Федя был, хорошо! А теперь? Семен спит как убитый, а ты сиди себе одна-одинешенька. Верите-ли, есть ничего не могу; бывало

Петр Акимович ругается, а все-таки живой человек, есть с кем слово сказать. Шутка ли, столько лет прожили вместе!

И она чаем запивала слезы.

В утешение мы описывали ей образ жизни и разные странности дедушки.

— А что, Ваня, он спит?—спрашивала она у внука.

— Нет-с, так лежит: хотите бабушка посмотреть на него? я пойду к нему и не притворю дверь...

— Хорошо, поди.

Бабушка смотрела в щелку на своего мужа, который, поскрипывая зубами, недвижно лежал на кровати, точно в гробу... С горестью находила она, что он очень похудел, хоть дедушка не мог худеть, потому что весь состоял из костей и кожи. Ваня радовал бабушку, извещая в свою очередь старика, что его жена-мотовка здесь. Он вскакивал, тоже заглядывал в дверь и шептал: «Ишь, как разрядилась! посмотри, Ванюша! А ведь, твоя бабка то хоть куда, молодая еще лучше была!..»

— Дедушка!—говорил внук.

— Что?

— Знаете сенатора, что под нами живет?

— Видывал... А что?

— Да так, он как-то встретил меня на лестнице и давай расспрашивать про бабушку... жаль, говорит, что муж есть, а то сейчас бы женился!.. Да ведь он в таком чине, пожалуй, похлопочет и разведут...

— А где он ее видел?—спрашивал встревоженный дедушка.

— Как где? встречаются у ворот, он всегда дает ей дорогу и кланяется...

— Ишь выдумал жениться! Да я хоть розно с ней живу, а не разведусь.

Он горячился и стучал кулаком по столу.

— По правде сказать, я давно думал: не к добру она рядится! Недаром сказано: «снаружи духовного поведения, но внутренно заражена любовью...»

Через минуту он являлся в детскую с погашенной свечой, будто за огнем; подходя к чайному столу, где сидела бабушка, притворялся удивленным и говорил: «ах, я и не знал, что вы здесь! Здравствуйте, Настасья Кирилловна...»

Тут он насмешливо и низко кланялся жене.

Она серьезно вставала со стула и отвечала ему таким же поклоном: «Здравствуйте, Петр Акимыч!»

— Как ваше здоровье?

— Слава богу, Петр Акимыч, а ваше?

— Что мое?.. сын родной выгнал...

И он заставлял свою жену выслушать длинную историю, в которой она сама занимала важную роль.

— Полно тебе, Петр Акимыч! Не стыдно ли все старое говорить!

— А по вашему, небось, все забыть? Я все вижу, даром, что врозь живем... меня не проведешь!

Он грозил жене своей пальцем.

— Мне дела нет, что он сенатор, я плюю на него!

И он плевал...

— Что еще? какой сенатор?

— Небось, не знаешь? Да нет, и не воображай! не хочу! Какой тут развод? тридцать лет жили вместе, да если б не сын разбойник...

И дедушка, смущенный тяжелым воспоминанием, хватал себя за голову и с диким криком убегал в свою комнату, где долго еще посылал угрозы сенатору, дерзнувшему влюбиться в его жену...

Иногда он приглашал бабушку к себе. Им приносили чай, и чашки не скоро пустели, потому-что дедушка усердно добавлял их ромом. Лица супругов принимали приятное выражение, разговор их состоял в передаче взаимных страданий. Но дедушка никак не мог обойтись без ссылок на календарь, которого бабушка терпеть не могла, вспыхивала ссора, и бабушка, назвав мужа ворчуном и скупцом, бежала вон, а муж за ней с криком: «все вижу не проведешь старого воробья на мякине!.. баба дура!.. мотовка!..»

Мы спешили разнять их.

Дедушка потом недели две не умолкал ни на минуту, пересказывая всем последнюю ссору и приглашая каждого быть судьей в ней...

Пришло лето. Маменька решилась взять дачу, единственно для больной тетушки... Такую мысль вероятно, подали ей доктора, которые присоветовали Кирилле Кириллычу тоже дачный воздух и морские купанья. Нас оставили в городе под присмотром Степаниды Петровны. Отец, занятый службой и бильярдом, совсем не жил дома, а на дачу ездил очень редко. Его нисколько не удивляло нежное внимание маменьки к Кирилле Кириллычу: она успела внушить ему, что и тут, как везде, имеет в виду пользу детей...

— Ты думаешь, Андрей,—говорила она:—мне легко выносить капризы Кирилла Кириллыча? Я все терплю для них же, а какой благодарности дождусь я от них?

Вздохнув, она продолжала:—Иногда нужно внести вдруг 400 рублей за Петра или Федора, я прямо к нему, и он даст; ну потом заплатим: но все-таки есть человек, к кому можно обратиться в нужде...

— Право, не знаю, Маша, кажется, мы аккуратно получаем жалования слишком тысячу рублей в месяц, да еще с уроков...

— Ну, так и видно, не знаешь, чего они стоят! На одних ваших дочерей...

И маменька развертывала перед своим мужем бесконечную цепь расходов на платье, обувь, воспитание его детей.

— Я тоже и о будущем думаю,—продолжала она таинственным тоном.—Ты знаешь, у него есть деньги, мачиху свою он не любит, кому же после его смерти деньги достанутся? Родных ни души, а мы слава богу вот уж десять лет с ним знакомы. Он же такой худой и больной... мне сам доктор говорил, что не долго ему жить...

Отец никогда ничего не отвечал на рассуждения своей жены и был ли он согласен с ними, или нет, ему одному известно; но маменька молчание его всегда принимала за знак согласия и действовала но своему усмотрению...

Братья собрались в каникулы все домой, но дома почти не жили, как ни грозила Степанида Петровна пожаловаться отцу, как я их ни упрашивала. Они твердили одно: «что нам дома делать, задохнемся от жару!». Втайне я сама со-

глашалась с ними и если б могла, с радостью убежала бы куда-нибудь в сад надышаться чистым воздухом, насмотреться на зелень, а там пусть накажут: можно вынести и наказанье после такого наслажденья! Сестры терпеливей меня выносили жар и духоту. Правда, старшей было не до того; за ней продолжал ухаживать Яков Михайлыч. Он пользовался дружбой Кирила Кирилыча, а потому и маменькиной, которая впрочем, обходилась с ним с видом покровительства. Он бегал по ее делам, писал ей письма и деловые бумаги. Кирило Кирилыч тоже ласкал его не без расчета: не так бросалось в глаза, что он каждый день бывал у нас, Яков Михайлыч тоже бывал каждый день. С отъезда маменьки, он почти поселился в нашей детской...

На беду нашу, Кирило Кирилыч соскучился без обычных гостей, которых привык видеть у нас, и маменька переехала с дачи очень скоро...

На другое лето, к неописанному нашему удивлению, в одно утро маменька, побранив нас, велела нам одеваться — ехать на дачу!.. Подали карету, и мы начали в нее набиваться: я, Степанида Петровна, две сестры, маленький брат Иван (другие братья еще не были распущены на каникулы), тетенька Александра Семеновна и столько же узлов. Я едва дышала от тесноты и радости, что увижу поле и море... По счастью меня притиснули к окну. Тощая загородная трава показалась мне невероятно роскошной, а сизая бесконечная даль привела меня в такой восторг что я чуть не выпрыгнула из окна, жадно глотая несовсем еще чистый воздух, но который казался мне ароматическим. «Что ты смирно си-

деть не умеешь?.. Гляди, узел мнешь!» — закричала маменька... Втиснувшись в испуге между узлов и сестер, я уже не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой, но глаза мои бегали жадно и бойко. При виде золотистой цикории, густо покрывавшей поле, я невольно воскликнула: «Ах, сколько цветов! посмотри, Катя!..» Маменька спросила сердито: что такое? Я не смела сделать ее участницей моей радости и молчала. «Я тебя спрашиваю, что там?» — повторила она.

— Цветы, — робко отвечала я, указывая на поле головой, потому что руки были у меня, как связанные. — Маменька небрежно посмотрела на поле и сказала: «вот дура, чему обрадовалась».

По мере удаления от города, местоположение становилось красивее... Не смея говорить, я толкала локтем сестру Катю и глазами показывала ей на беспрестанно сменявшиеся предметы моего удивления и восторга...

Я до того глядела на дорогу, что голова моя закружилась.

— Ах, Катя! мы, кажется, едем назад? — с испугом спросила я сестру.

— Что ты? разве не видишь, мы сейчас перегнали телегу.

Я успокоилась и с нетерпением ждала увидеть дачу. Я воображала себе, что наша дача окружена лесом, море у самых окон, в лесу бездна цветов и ягод... Мы въехали в ворота и маменька сказала: «слава богу, скоро приедем». Я очень удивилась, увидев такие же дома, как в Петербурге, только поменьше; изредка попадались деревья. Мы подъехали к низенькому двухэтажному домику, с мелочной лавкой внизу.

Я думала, что маменька хочет что-нибудь купить в ней, когда она закричала кучеру: «стой, стой! к лавке-то!..» Но когда она вслед за тем прибавила: «ну, вылезай кто-нибудь!» я глядела во все глаза и не верила своим ушам... Мы все разом попробовали тронуться, но не скоро увенчались успехом наши усилия: из нас образовалось что-то целое, неделимое, с бесчисленным множеством глаз, носов и ушей...—Так вот что называется дача! говорила я с отчаянием, осматривая жалкий домик и грязный двор, заваленный досками, бревнами и мусором, по случаю перестройки. Я чуть не плакала. Вбежав наверх, я еще более удивилась, увидев только две комнаты, маленькую кухню, в которой едва можно было повернуться, и еще комнатку совершенно темную,— вот и все!.. значит, нам придется сидеть все с маменькой. Дрожь пробежала по моему телу...

— Неужели, тетенька, мы и спать будем с маменькой?

— Нет, спать будем в темной комнате, а здесь только пить чай и обедать.

— Как! мы будем обедать с ней вместе?..

В досаде и ужасе я стала упрекать тетеньку, что она хвалила нам такую гадкую дачу... Тетенька рассердилась и советовала мне замолчать: перегородка деревянная, как раз маменька услышит!..

Злая и печальная, неохотно присоединилась я к сестрам, которые мыли стаканы и чашки, за недостатком прислуги: с нами на дачу взяли только кухарку, нарочно для того нанятую. Не знаю как, из рук у меня выскользнул стакан и с треском разбился. В одну секунду маменька

очутилась передо мной, — ее карающая рука пришла в движение, каждый удар сопровождался словами:

— Была ты дура, есть и будешь...

Тяжелее, чем когда-нибудь показалась мне теперь такая обида. Я сильно почувствовала унижение и чуть явно не обнаружила перед маменькой моего негодования... В отчаянии ушла я в сени, плакала, смотрела в окно... какое-то волнение вдали удивило и развлекло меня: всматриваюсь и наконец вижу бесконечное пространство воды, которая совсем слилась с небом. Я открыла окно, и мне еще яснее представилось море. Забыв свое горе, смотрела я на дым, летавший по волнам, на птиц, черными точками мелькавших в дыму, на маленькие лодочки, которые то совсем исчезали, то снова показывались... Мне страшно захотелось ближе увидеть море, я кинулась на двор, искала выхода к морю... нет! Лавочник, скликавший своих кур, растолковал мне, что нужно сперва город пройти, потом на дорогу вытти, спуститься с горы, — вот и будет море, а отсюда оно далеко... Я подбила сестер и Степаниду Петровну, и мы отправились смотреть море... Я шла впереди путеводительницей... Миновав дачи, мы увидели по одну сторону дороги лес, кинулись к нему: ни цветов, ни ягод, только песок да голые деревья! На другой стороне крутая гора; не задумавшись, взбежала я на нее, оставив сестер внизу; от непривычки к таким подвигам, дух у меня захватило, но я забыла усталость, пораженная картиной, открывшейся перед моими глазами. Солнце играло в темных волнах, катившихся

медленно одна за другой... Белые паруса летели как исполинские птицы, пароходы гнались один за другим, оставляя за собою рябой и светлый хвост, в котором изломанные, рассеченые лучи солнца искрились и сверкали еще ярче... Сидя на вершине горы, я долго смотрела на море, и беспрерывное движение волн навело на меня грусть. Я вспомнила брата Мишу; может быть, он теперь, думала я, бежит по горам и прячется от черкесов... Я оглянулась кругом, мне стало страшно одной; кинувшись с горы, я кричала сестер. К счастью, они сидели невдалеке... Я сказала им, что с горы видно море, и что оттуда лес лучше, чем снизу. Мы опять пошли на гору; еще раз мимоходом взглянув на море, я рискнула убежать в лес, но поминутно aукалась сестрам... Я воротилась домой с целым пучком цветов. Нас встретили не очень ласково.

— Где изволили пропадать?

— В лесу.

— В лесу? без спросу!.. И ты, Степанида, туда же, точно молоденькая!

Степанида Петровна все прощала своей сестре, но не намеки на зрелость лет: вспыхнула ссора...

На другое утро, побранив нас за чаем, маменька велела нам итти с ней купаться. Мне досталось нести кружку и мочалку, сестре Кате простыню, а Соне рубашку. Если бы связать все в один узелок, вышла бы ссора кому нести, потому тетенька так и распорядилась...

Проходя улицы, мы горели со стыда: с каким-то странным любопытством смотрели на нас из окон дач разные головы, и мы слышали их за-

мечания: «Ее дочери... неужели? Так дурно одеты... никак нельзя подумать...»

— Слышишь-ли, что про нас говорят?—шепнула я сестре, толкнув ее локтем: — как то мы назад пойдем?

Маменька, ничего не подозревая, гордо выступала вперед, сопровождаемая дочерьми, которые не решались итти с ней рядом, так она была величественна! В строгом молчании прибыли мы к месту купанья, где впрочем кроме неустрашимой нашей маменьки никто из дачных жительниц не купался: дорога была недалеко, и хоть мы, поднявшись на цыпочки и вытянув кверху руки, держали за кончики раскинутую простыню, когда маменька разделась, однако ж... Распустив волосы, маменька картинно погружалась в морские волны. Следя за ней, я уверяла сестер, что мы нимфы, а она — богиня, и что хорошо бы нам превратиться в маленьких рыбок и уплыть от нее подальше в море... Но и тут беда; ведь и она пожалуй превратится тогда в щуку, догонит нас и окончательно проглотит. Мы шутили на берегу, а маменька ныряла... Нырнув раз, она долго не показывалась: я так испугалась, что чуть не кинулась в воду и невольно вскрикнула: маменька!

В ту минуту она высунула голову из воды; пронзительный крик мой долетел до ее слуха, и она закричала: что ты орешь?.. Еще сильней испугалась я неожиданного ее появления и грозного голоса. Сестры хохотали надо мной, а маменька, взбивая пену на большом пространстве, плыла ко мне как морское чудовище, и когда

она приподнялась, я отскочила в паническом страхе... Она повторила вопрос: чего ты орала?..

Я решительно потеряла способность говорить, и маменька своей ладонью, покрытой морской влагой, коснулась моей бледной щеки, и на берегу моря, может быть, в первый раз от создания мира, раздался звучный удар, и эхо повторило его несколько раз, будто радуясь новому звуку...

Обратное шествие совершалось тем же порядком и те же замечания из окон преследовали нас.

На другой день я начала хромать и тем избавилась, может быть, от новых ласк маменьки. Сестры злились на меня и досадовали, что раньше не придумали тоже какого-нибудь предлога не ходить на купанье... Иногда вечером маменька брала нас гулять в сад, где играла музыка. Тут я окончательно терялась, бог знает отчего сталкивалась почти с каждым встречным; торопясь поправиться и разойтись, мы с жаром качались из стороны в сторону, пока грозный голос маменьки не превращал меня в истукана: тогда утомленный господин извинялся передо мной, а маменька на всю улицу удивлялась, что у нее такая дура дочь: везде что-нибудь да наделает! При виде разряженных дам, я оглядывалась на себя и на сестер: нас всегда одевали одинаково, вероятно, чтобы не развить в нас зависти, да и выгода тут примешивалась: из трех изношенных платьев всегда выходило одно совсем новое... Мы были без перчаток, в худых башмаках самой дурной работы; вообще костюм наш довершал наше несчастье, обращая на нас вни-

мание публики: пестрые одинаковые шляпки, ватные одинаковые салопы, когда все в платьях и жара невыносимая...

К счастию, маменька сама не очень любила такие прогулки. Чаще всего от жару забивались мы в темную комнату и просиживали там с утра до вечера... Впрочем, и тут бывали у нас веселые минуты, и мы от души смеялись...

Раз маменька дня три хлопотала о каком-то паштете и перед обедом секретно предписала нам не прикасаться к нему даже в таком случае, если нам его предложат. Подали паштет. Торжественно привстав и отрезав кусок с искусством оператора, она подала тарелку Кириле Кирилычу. Кирило Кирилыч отличался вежливостью и даже иногда, к досаде маменьки, любезничал с сестрами и Степанидой Петровной, которая переманила его на свою сторону лестью. Взяв тарелку, он очень ловко предложил ее мне. Я отказалась.

— Ну, потрудитесь передать Степаниде Петровне.

Тарелка начала совершать путешествие вокруг стола. Когда она проходила мимо носу брата Ивана, Иван с упоением потянул в себя запах и громко говорил, качая головой: «не могу... не люблю, даже запах противен...» Маменька тоскливо следила за путешественницей, и когда та благополучно возвратилась на родину, она снова предложила ее Кириле Кирилычу. Тот решительно отказался, жалуясь, что сегодня не очень здоров...

— Ну, теперь можете есть! — крикнула маменька, сердито двинув тарелку на середину стола...

Эффект был удивительный. Маменька опомнилась, но уж поздно: Кирило Кирилыч надулся; тотчас после обеда он сказал: прощайте, Марья Петровна.

— Куда же вы? а кофей?

— Я спать хочу,—отвечал он сухо.

— Как вам угодно.

Степанида Петровна с сестрами ждала его в сенях, чтобы задержать его на зло маменьке. Я же осталась в столовой наблюдать за впечатлением, которое произведет на нее их говор и смех.

— Кто там?—спросила она меня.

— Я отвечала: не знаю-с!

— Поди, посмотри, да скажи, чтобы сестрицы твои перестали трещать!

Я буквально передала приказание, надеясь сильнее ожесточить Кирилу Кирилыча. Точно, он стал смеяться и говорить еще громче. Маменька волновалась: говор и смех томил ее. Наконец она пошла к двери такими шагами, что деревянный дом задрожал. С шумом растворив двери, она гневно закричала:—что вы горлото дерете?.. Ах, вы еще здесь, прибавила она кротко, притворяясь удивленной. Потом обратилась к Степаниде Петровне:—ты, кажется, могла бы их унять... вот связалась, точно чорт с младенцами! Извольте убираться в комнату!

Так мы прожили две недели на даче. По возвращении в город, детская показалась нам раем. Вскоре пришло письмо с Кавказа; к нашему удивлению, отец сам принес его в детскую и дал прочесть тетеньке Александре Семеновне. Она заплакала от радости. Он шутил над ней

и весело говорил:—«ну, о чем плачешь? племянник твой скоро офицером будет...» И мы прочли письмо: полковник извещал, что брат Миша показал чудеса храбрости, получил уже Георгиевский крест и представлен в офицеры. В заключение полковник советовал отцу взять брата с Кавказа, как только он получит офицерский чин, потому что с такой горячей головой ему не сдобровать там. Детская наполнилась радостными толками; мы уже рассчитывали, к какому сроку брат приедет к нам. Дедушке Ваня передал известие о брате по-своему:

— Миша убил двадцать пять черкесов.

Дедушка побледнел и замахал рукаки.

— Перестань, Ванюша.

— Право, дедушка.

— Ну, как он мог их убить?

Брат сделал из руки ружье, прицелился в дедушку и закричал: паф!

Дедушка схватился за грудь, будто ощупывая пулю. Брат хохотал. Дедушка рассердился и пошел надоедать другим распросами о внуке.

Ровно через два месяца явился к нам почтальон с новым письмом от полковника. Радостно отнесли мы отцу письмо, воротились в детскую и, собравшись в кучу, с нетерпением ждали: вот придет отец и объявит нам, что брат—офицер... Но время шло, а отец не приходил... Наскучив ждать, тихонько подошли мы к кабинету... дверь заперта, и за дверью тишина... Настал вечер. Мы решили, что письмо, видно, прочтем завтра... Подали чай. Тетенька подошла к кабинету и постучала в дверь.

— Кто там?—послышался слабый голос отца.

— Я, братец; не хочешь ли чаю?

— Нет!

Тетенька заключила, что отец поссорился с маменькой, и очень встревожилась... Мы легли спать: тетенька раза три подходила к кабинету, а утром сказала, что очень испугалась: в кабинете всю ночь не погасал огонь и по временам слышались стоны... Скоро пришел в детскую и отец, когда маменька еще спала... Его нельзя было узнать; лицо страшно бледное, глаза припухли, он даже немного похудел; смотрел он печально. Целуя его руку, я заметила, что она дрожит. Он как-то странно мялся, наконец, тяжело вздохнул и сказал, запинаясь и не глядя ни на кого:

— Ваш брат убит... Не говорите о нем больше, и чтоб мать не знала...

И он скорыми шагами вышел из детской.

Детская наполнилась рыданиями. Страшно было смотреть на тетеньку Александру Семеновну. Маменька, к счастию, не заметила наших расплаканных глаз, а тетеньку она уж привыкла видеть больной и печальной. Отец по прежнему сидел в кабинете. Он не обедал, а к вечеру оделся и ушел... Мы кинулись в кабинет, и я первая увидела и схватила со стола письмо: оно все съежилось, и чернила расплылись так, что многих слов нельзя было прочесть. Едва могла я разобрать некоторые фразы: «Он умер без долгих мучений... пуля попала ему прямо в сердце... он был бравый малый, но с его характером, в его лета ему не должно было предоставлять случая к опасности...» Еще несколько утешений, и дальше мы ничего не разобрали.

Едва успела я положить письмо на прежнее место, возвратился отец... Он пошел в залу. Там уж играли... Заметив его худобу и бледность, маменька спросила:—что с тобой, Андрей? Не отвечая, он сел на диван. Маменька продолжала сдавать карты. Он тихо сказал ей: «я получил вчера письмо с Кавказа».

— Ну, что? — спросила она, разбирая по мастям свою игру.

— Миша,—начал отец:—Миша... ранен.

Он встал, чтобы скрыть волнение.

— Опасно или нет?—быстро спросила маменька.

Отец медлил ответом... Игра приостановилась. Маменька пристально взглянула на своего мужа и визгливо вскрикнула:

— Ах!.. он убит!..

Карты выпали из ее рук, она повалилась на диван в страшных судорогах: отец подошел к ней. Он весь дрожал, и в первый и последний раз в жизни я видела, как слезы ручьями катились по бледному лицу моего отца.

ГЛАВА X

Постукивание карт скоро опять началось в зале...

Узнав о смерти внука, дедушка плакал и упрекал, зачем родители отпустили на Кавказ такую картину. Бабушка прибежала к нам впопыхах расплаканная, и распрашивала подробно, как все случилось. «Ах, ты, боже мой! да лучше бы ваша старуха бабушка умерла... что моя за жизнь? А я ему десять рублей приготовила: думаю, вот приедет внук офицер... вот тебе и Миша! Уж нет ничего хуже, как видеть во сне, что зуб выпал!.. Я на днях видела... ну, думаю, нехорошо!.. Пошла на Сенную и к спасу зашла, поставила свечу...» Дяденька равнодушно выслушал весть о смерти племянника, он только сказал: «если бы мне его отдали. я бы его вышколил, забыл бы у меня Кавказ...» Через несколько времени никто не говорил о брате. Только я иногда видала во сне, будто он жив, и радовалась: мы с ним разговаривали, но вдруг он бледнел и прощался со мной, говоря: пора в могилу. Я пристально вглядывалась в его лицо и видела вместо брата безобразного мертвеца...

Сестра Соня заметно интересовалась Яковом Михайлычем; раз мне случилось видеть ее руку в его руке. Он осыпал сестру разными угожде-

ниями, но она обходилась с ним довольно жестоко; часто при нем восхищалась она каким-нибудь офицером, которого случайно видела, и бедный Яков Михайлыч сидел как на иголках. Степанида Петровна приставала к нему с таинственным вопросом: отчего он скучен?.. он грубыми ответами вымещал на ней свою злость. Они ссорились... Случалось, он дни по два не появлялся в детской. Тогда она тихонько плакала. За труды писаря и рассыльного маменька продолжала терпеть его у себя в доме, не опасаясь за дочерей: он был дурен и беден... Но видно есть же всему мера: когда, по каким-то неприятностям, он вышел в отставку, она круто изменила с ним обращение. Он уж казался ей слишком ничтожен. Героически выносил бедный Яков Михайлыч ее оскорбления: любовь давала ему силу. Наконец раз он пришел к нам из залы очень бледный и задыхался от злости. Степанида Петровна пристала к нему с вопросами, он молчал и скоро ушел. На другой вечер он явился в гостиную очень печальный и объявил, что едет в дальнюю губернию года на три.

Степанида Петровна растолковала такую жертву в свое удовольствие: видно, он хочет поправить свои дела, чтобы жениться! Кажется, оно так и было, но только жениться расчитывал он не на ней. Прощание было трогательное; мне было жаль его: он не мог смотреть на сестру без слез...

Я нечаянно слышала их разговор.

— Вы меня забудете, Софья Андреевна?

— Отчего я вас забуду?

— Повторите мне еще раз: если ворочусь, я найду вас такой же доброй?..

Степанида Петровна подскочила к нему с карандашом и спросила адрес.

Он отвечал, что напишет первый, а теперь пора ему ехать.

— Прощайте, Софья Андреевна, не забывайте...

Волнение мешало ему договорить... Степанида Петровна пристала к нему с просьбой чаще писать. Он ровно пять раз принимался прощаться, наконец с отчаянием подошел к Софье, крепко и медленно поцаловал ее руку и потом неожиданно прильнул своими бледными губами к ее розовой щеке... Сконфуженная сестра вскрикнула: Яков Михайлыч! Степанида Петровна приготовилась тоже принять прощальный поцелуй, но Яков Михайлыч уже выбежал из детской... Она рассердилась...

У нас стало еще скучнее: Яков Михайлыч чтением и новостями сколько-нибудь оживлял нашу детскую. Я особенно любила чтение и готова была слушать роман целую ночь...

Спустя месяц, мы получили письмо от Якова Михайлыча, а на другое утро, когда я шла к учителю, какой-то незнакомый господин подал мне еще письмо для передачи сестре и исчез... Сестра приняла письмо без всякого удивления: видно знала заранее, от кого оно...

— Соня, это от Якова Михайлыча?

— Да, только я боюсь: узнает тетенька,— непременно маменьке скажет... Ты завтра отдай письмо назад и больше уж не бери...

— Так ты его не любишь, Соня?—спросила я с удивлением.

— Нет, он выдумал, что я выйду за него замуж.

— Отчего ты не хочешь за него выйти? А сама позволяла ему жать свою руку!

— Ну, что же? а теперь не хочу, и сделай одолжение не бери писем...

Делать нечего, на другой день я со страхом возвратила письмо незнакомому господину, которого нашла на том же месте... Сестра стала ходить чаще в церковь и говорила о каких-то голубых глазах, которые там видела...

Так прошел месяц... Раз иду к учителю: опять тот же господин с письмом. Я не брала, но он просто сунул мне в руку и исчез.

Сестра рассердилась и приказала мне завтра же возвратить письмо с небольшой своей запиской, которую она тут же написала: я исполнила.

С тех пор мне уже не случалось видеть незнакомого господина.

Яков Михайлыч написал тетушке, что намерен навсегда остаться на службе в губернии, и после уже не писал.

Я спросила сестру: не жаль ли ей Якова Михайлыча? Она мне отвечала, что любила его потому, что других не видала, а теперь ей все равно, да еще и лучше, что он там остался.

Степанида Петровна тоже скоро развеселилась: к тому времени из одного казенного училища вышла ее младшая сестра. Мы любили ее, она была не очень умна, но недурна собой и добра. Степаниде Петровне, потерявшей всякую надежду на собственное замужство, захотелось поскорее выдать хоть свою сестру, чтобы переехать к ней жить, да и уколоть племянниц,

ровесниц ее сестре. За молодой тетенькой стал ухаживать сын одного важного человека, который был нужен маменьке, потому она каждый день начала приглашать к себе его сына и молодую тетеньку. Мало-по-малу гостиная наша, прежде почти пустая, сделалась сборищем молодых людей, сестер моих и тетушек. Говор и хохот долетали в детскую, где я сидела одна...

Я не любила сидеть в гостиной. Во мне произошла какая-то перемена: без всякой причины хотелось мне иногда плакать, а иногда вдруг делалось так весело, что я прыгала и бегала как ребенок, хоть мне уж было шестнадцать лет.

Случалось, по временам просиживала я часа по два у окна без всякого дела; я следила за облаками, бог знает о чем думала, припоминала романы, которые читал Яков Михайлыч, воображала себя героиней романа... Мне так нравилось такое странное состояние, что я с нетерпением ждала, когда солнце сядет и немного смеркнется. Тогда я брала книгу, садилась к окну, делала вид, будто урок учу, а между тем, забывала и себя и свое положение,—все и всех. Мне чудилось, я тоже под облаками, борюсь с массой туч, пробиваюсь сквозь них с невероятной быстротой лечу по ясному небу. Иногда я находила в тучах сходство с разными чудовищами, о которых слышала в сказках, и я радовалась, когда такая враждебная туча встретится с другой и после долгой борьбы совершенно исчезнет. А как досадовала я на совершенно темные вечера! Степанида Петровна, ненавидевшая меня, заметив во мне перемену, подозрительно спра-

шивала меня:—что ты делаешь у окна? разве можно теперь что-нибудь видеть?

— Я хочу так сидеть! Зачем вам знать все?

— Уж не смотришь ли ты на офицеров?

Напротив нас жили офицеры, но я не обращала на них внимания; я считала себя еще ребенком, и притом, по уверению Степаниды Петровны, не могла никому нравиться. Однако же ее замечание раздражило меня. Я отвечала резко:

— Еще успею насмотреться на офицеров, а вот вам, так уж и пора прошла!

Взбешенная, она твердила мне, что я безобразна и глупа, никто и взглянуть на меня не захочет, а уж выйти замуж нечего мне и думать...

— Да я и не думаю... А вот вы, и умней, да на вас никто не женился... даже и раньше!

Еще больше возненавидев меня, она начала следить каждый мой шаг, каждое слово толковать в дурную сторону и беспрестанно ко мне придираться. Она успела вооружить против меня и тетеньку Александру Семеновну, насказав ей, что я на дороге к учителю перемигиваюсь с проезжими, и что ей говорила жена учителя, будто я ничего у них не делаю, а только все гляжу в окно.

Александра Семеновна также начала подсматривать за мной, как только я пойду к окну. В досаде я оставила свои невинные наблюдения и садилась к окну спиной.

— Что ты нейдешь в гостиную к сестрам, а только сидишь у окна?—каждый вечер твердила мне Александра Семеновна, когда приходили гости.

— Что я там буду делать? мне с ними скучно, я не понимаю, что они там говорят!

Когда гости расходились, молодая тетенька рассказывала сестрам, как за ней ухаживал сын важного человека. Сестры тоже по секрету шептались. Только Степаниде Петровне не о чем было рассказывать и шептаться: за ней никто не ухаживал...

Раз мне вздумалось пойти вечером в гостиную. Там были все обычные гости. Сын важного человека, чтобы не бросались в глаза его частые посещения, познакомил маменьку с тремя молодыми людьми. Один из них, Алексей Петрович, спросил меня: — Отчего вас никогда не видно?

— Я люблю сидеть одна,—отвечала я.

— Разве вам не скучно сидеть одной? Ну, что же вы теперь делаете?

Я посовестилась сказать, что смотрю на облака, и необдуманно отвечала:

— Читаю.

— А что вы теперь читаете?

Я смешалась, и мне стало досадно на свою ложь. Кроме всеобщей истории, грамматики и географии, никаких книг я и в руках не имела... К счастию я вспомнила «Ледяной Дом», который читал сестре Яков Михайлыч...

— Роман,—отвечала я.

— Какой?

— «Ледяной Дом».

— Вам нравится?

— Очень.

— Не хотите-ли, я вам принесу какой-нибудь роман Вальтер-Скотта.

— Благодарю вас; я не смею: надо спросить у тетеньки.

— Как! вы не смеете прочесть романа без позволения тетеньки!

Алексей Петрович улыбнулся.

— А который вам год?

— Семнадцатый.

— Вы любите цветы?

— Да, очень люблю.

— Позвольте мне вам завтра принести букет.

— Ах, нет! надо спросить...—но я не договорила, потому что Алексей Петрович опять засмеялся... Вспыхнув от злости, я ушла в детскую, где целый час бранила его больной тетеньке... Вечером сестра спросила меня: отчего Алексей Петрович так смеялся, разговаривая со мной?

Степанида Петровна подхватила:—Верно ты сказала ему какую-нибудь глупость? Он все спрашивал потом: отчего ты нейдешь в гостиную?

— Сам он глуп, оттого и смеется так много... я с ним никогда больше не буду говорить.

— Да он и сам не станет говорить с такой дурой,—сказала тетенька.

— Ну, видно он и вас считает тоже не очень умной; не сказал с вами ни слова, когда я там была.

— Слышите, как заговорила! Видно она слышала, что он о ней говорил... Да он шутил, будь уверена, шутил... А ты уж и вообразила, что в самом деле ты хорошенькая!

— А вас и в шутку никто не называет хорошенькой!

На другой день я нарочно вышла в гостиную показать, что и я, если захочу, умею бол-

тать как другие... Не знаю, откуда брались у меня слова: я говорила без умолку. Степанида Петровна беспрестанно посылала меня спать, говоря, что мне завтра надо рано итти к учителю.

— А в котором часу вы ходите к учителю?— спросил меня Алексей Петрович.

— В девять.

— Я завтра тоже встану в девять часов и пойду к вашему учителю,—мы вместе будем брать уроки.

— Пожалуйста, не делайте этого,—начала я с испугом... Но вдруг остановилась, смешалась и покраснела, заметив на его губах вчерашнюю улыбку. Он сказал:

— Вы не хотите этого? Ну, прикажите!

— Зачем я буду вам приказывать? Вы сами не поедете! Вот если бы там Соня училась,— дело другое!

— Отчего же не для вас?—тихо спросил Алексей Петрович.

— Мне Степанида Петровна сказывала, что вы влюблены в нее.

— Да, я влюблен, только не в вашу сестрицу,—сказал Алексей Петрович еще тише и как-то странно посмотрел на меня.

Вдруг мы оба замолчали. Глаза Алексея Петровича жгли мои смуглые щеки, я была красна как пион, дышала с усилием и в первый раз отчего-то не могла смотреть прямо ему в глаза. И волнение мое с каждой минутой увеличивалось. Я тихо сказала «прощайте» и убежала от изумленного Алексея Петровича.

С неделю я его не видала, но много думала о нашем разговоре, припоминала каждое его

слово, иногда даже предлагала ему вопросы и сама за него отвечала. То мне казалось, что он говорил со мной серьезно, то приходила мысль, что он шутил, и я не решалась итти в гостиную.

Я смотрела на него в щелку дверей; он больше сидел один, а если говорил с сестрами и тетеньками, то как-то нехотя.

Я даже слышала, как он спрашивал: «А ваша сестрица отчего не выходит? здорова ли она?...» Сердце у меня билось... Узнав, что я здорова, он, казалось мне, хмурился.

Чем бы я ни занималась, при его имени я невольно останавливалась и вздрагивала...

Раз на уроке я видела, как он проехал мимо дому учителя и от испугу чуть не упала в обморок. Мне представились маменька и Степанида Петровна, которые спрашивают меня, зачем он проехал?

Я стала посматравать пристально на себя в зеркало: иногда мне казалось, что я не так дурна и черна, как говорит Степанида Петровна; то снова находила я себя безобразной и с досады чуть не плакала...

Наконец я решилась выйти в гостиную. Сердце мое сильно билось и голос дрожал. Алексей Петрович очень обрадовался. Он сказал мне: «вы верно на меня сердитесь? простите, я больше не буду ездить мимо вашего учителя...».

Мне стало легче, я дышала свободнее... Я притворилась, что даже не знаю, проезжал ли он там...

— А не выходила я просто оттого, что не хотелось.

— А мне так очень хотелось вас видеть,— сказал он со вздохом.

— Зачем?—спросила я, краснея.

Он молчал,—видно затруднялся отвечать на такой вопрос.

— Я вас хотел видеть потому, что я люблю ваши глаза!

И он пристально посмотрел на меня.

Я совершенно терялась в таких случаях, но страх обмануться, приняв шутку за серьезное, не давал мне надолго забываться. Я спросила:— А глаза Степаниды Петровны вы любите?

— Вы все только шутите!

Он рассердился.

Мне стало жаль его, и я разными рассказами старалась развеселить его...

На утро, завидуя, что мне оказывают внимание, Степанида Петровна пустила такую сплетню, что я опять решилась не говорить с Алексеем Петровичем.

И на следующий вечер я точно старалась избегать разговора с ним, чем невольно еще больше заинтересовала его; глаза мои как-то особенно блестели, и я сама чувствовала в них какую-то силу. Во время отсутствия Степаниды Петровны, я успела рассказать Алексею Петровичу мое положение, и мне стало легко... Поверив ему свою тайну, я чувствовала, что нас теперь связывает что-то. К концу вечера я забыла совсем свое обещание и снова говорила с Алексеем Петровичем. Мы стояли у фортепьяно, я перелистывала книгу, и рука моя нечаянно коснулась его руки, он удержал ее и слегка пожал. Я почувствовала, что голова моя закру-

жилась, гостиная закружилась, гостиная исчезла, и я как-будто качалась на воздухе. Когда я опомнилась, рука моя все еще лежала в его руке, он тихо говорил мне:

— Вы любите меня?

Я машинально отвечала «да», сама не зная, что говорю.

— Что это вы тут делаете?—раздался голос Степаниды Петровны. Я вздрогнула, Алексей Петрович смутился и отвечал сердито: «смотрим ноты». Она улыбнулась и отошла... Я совершенно потерялась от счастья, простилась с Алексеем Петровичем и поскорее легла в постель. Тут только я поняла все свое безрассудство. Что, если он шутит надо мной? Положим, что он меня и точно любит,—что же дальше?.. жениться? И мне стала самой смешна такая мысль: Алексей Петрович человек молодой, довольно богатый, у него много родных, которые, верно, не допустят жениться на мне: я бедна, дурна собою, как говорит Степанида Петровна... да можно ли и полюбить меня?.. меня считают девочкой...

Тетеньки, думая, что я сплю, рассуждали между собою, что Алексей Петрович водит меня за нос, и что другой молодой человек, который ухаживает за старшей сестрой, тоже на ней не женится.

Такое заключение очень оскорбило Александру Семеновну. Степанида Петровна объявила, что еще подождет немного, а потом скажет все маменьке и тем прикратит посещения молодых людей. Она думала такой мерой заставить сына важного человека поскорей просить руку ее сестры.

Долго не могла я заснуть после разговора тетушек. Я думала: чтó мне делать? Перестать видеть Алексея Петровича у меня недоставало силы. А маменька? Что будет, когда ей наговорят на меня? В досаде, она пожалуй изобретет какое-нибудь унижение, которое я должна буду вынести перед его глазами. Жениться он не может,—тетеньки лучше знают, Они говорят, что я сама с ним кокетничаю... я припомнила некоторые слова свои и взгляды, и мне показалось, что они правы. Тогда я почувствовала муку нестерпимую, тоску и стыд... Что же я должна делать? Бежать от Алексея Петровича, от маменьки, от тетушек... куда же я побегу? меня найдут и снова приведут к отцу и раздраженной матери. И мне представились гневные лица отца и матери, встречающих свою дочь-беглянку. Мне так стало страшно, что я решилась лучше отказаться видеть Алексея Петровича, терпеть и страдать, чем заслужить гнев маменьки.—Я скажу ему, что не люблю его!— и я задумалась.—А почему могу я знать, что я его люблю?.. Может быть ничего еще не значит, что время без него мне кажется длинно, что я не могу ни о чем думать, кроме его, не хочу ни на кого смотреть, кроме его?... Напротив, заслышав его голос, я вся встрепенусь, сердце забьется, время быстро мчится, и я так добра, что готова подать руку даже своему врагу Степаниде Петровне. Мне грустно с ним прощаться, когда я знаю, что завтра не увижу его. Что же будет со мной тогда, когда я совсем не буду его видеть?..

Я заплакала, обхватила крепко подушку и заглушила ею свои рыдания...

ГЛАВА XI

На другой день я встала с красными глазами.

— Уж не об Алексее ли Петровиче изволили плакать?—спросила Степанида Петровна.

— Вам что за дело? оставьте меня в покое!

И слезы снова блеснули у меня в глазах. Степанида Петровна заговорила жалобным голосом:—Бедная! вздумала, что он женится на ней! Да не женится, хоть каждый день плачь с утра до ночи,—заключила она резким голосом, который больше шел к ее лицу.

После такой мучительной ночи, я не имела сил терпеливо выносить ее насмешки; схватив себя за голову, я прислонилась к стене и зарыдала... Меня начали бранить, зачем я плачу так громко.

— Хоть бежать!—проговорила я в отчаянии, сама не зная, что говорю, и вдруг меня образумил отвратительный, торжествующий смех Степаниды Петровны.

— Право,—шипела она:—ай да Наталья! вот готовишь сюрприз родителям!.. Уж не к Алексею ли Петровичу? Впрочем, ты всегда смотрела такой...

При имени Алексея Петровича и таких оскорбительных подозрениях, слезы мои исчезли;

я подошла к ней, и не знаю, откуда брались у меня слова, но я не осталась у ней в долгу; я знала, сестра ее была именно в таком положении, какое она мне пророчила.

Раздраженная до крайней степени, Степанида Петровна поклялась сказать все маменьке. И в сумерки она отправилась к ней.

Собиравшаяся гроза, страх, может быть, никогда больше не увидеть Алексея Петровича, предчувствие нового унижения,—все это внушило мне отважную мысль: я решила во что бы то ни стало увидеться с Алексеем Петровичем, все сказать ему и навсегда с ним проститься.

Я упросила брата Ивана сойти вниз, подстеречь, когда приедет Алексей Петрович и попросить его подождать там меня.

— Ну, смотри, Наташа, если увидят!?.

— Тебя увидят, так ничего, а если меня, так я скорей умру, чем скажу, что ты мне помогал.

— А что ты хочешь сказать ему?

Не вдруг нашлась я отвечать брату на его вопрос.

— Ты пробеги прямо к дедушке,—заключила я, когда он согласился на мою просьбу:—я уж и буду знать, что Алексей Петрович ждет меня.

— Ну, хорошо!

Пришел час, когда обыкновенно приезжал Алексей Петрович и другие гости. Я сидела как на иголках. Вдруг брат Иван с шумом пробежал в комнату к дедушке,—я чуть не выдала себя; так хотелось мне тотчас броситься к двери, но я удержалась, встала спокойно и не торопясь

вышла в сени. Там стрелой сбежала я с лестницы, чуть не сбила с ног Алексея Петровича, который дрожал от холода, и очень испугалась при мысли, не наткнулась ли я на кого другого.

— Ах, как вы меня испугали!

— Что с вами? успокойтесь! я все знаю: мне брат ваш успел все рассказать...

Я еще больше испугалась, подумав, не рассказал ли ему брат наших ссор с тетушкой.

— Ах, что он сделал! Вы не слушайте его: он любит болтать!

— Нет, я все знаю и прошу вас не тревожиться...

Он взял мою руку.

— Отчего вы дрожите? Боже мой, вы в одном платье! вы простудитесь!

Он хотел прикрыть меня своей шинелью. Я быстро отскочила.

— Нет, мне тепло. Я вам должна скорей все сказать. Маменька знает все, ей...

Алексей Петрович перебил меня.

— Повторяю вам, я также все знаю и—не бойтесь!

Потом он продолжал голосом, который мне показался торжественным:—Вы должны будете сказать мне откровенно: любите ли вы меня?

Алексей Петрович взял мою руку и притянул меня к себе. Кровь у меня хлынула к голове, и я сказала:

— Да, я люблю вас.

— Очень?

Я спохватилась и отвечала ему:

— Вам хочется это знать, чтобы смеяться надо мной?..

— Что это значит? — сказал удивленный Алексей Петрович и выпустил мою руку из своей.

— Степанида Петровна уверяет меня...

Алексей Петрович рассердился; он плотно закутался в шинель, потом совсем раскрылся, как будто ему стало жарко и сказал мне:

— Хорошо! я сегодня же докажу вам, как я смеюсь над вами, а вам стыдно верить всем.

Мне всегда было весело, когда он сердился; мне казалось тогда, что он меня любит, и теперь сама не знаю как, но я много говорила ему, что очень люблю его. Он просил позволенья поцаловать меня, но я твердо отказалась. Он сказал:

— Ведь вы завтра поцалуете же меня как жениха?

— Как жениха! Вы разве хотите жениться?..

— Не сами ли вы сказали, что любите меня...

Когда Алексей Петрович тихо говорил со мной, я сама не знала, что делала, я была совершенно в его власти. Не знаю, как случилось, но я почувствовала его жаркое дыхание и его горячие губы прикоснулись к моей щеке. Я не противилась; на глазах моих навертывались слезы; я вся горела, но мне было хорошо.

Вдруг раздался голос на лестнице:—Наташа!— и брат уже стоял перед нами.

— Беги скорей! тебя ищут!

С испугу я все забыла и, схватив брата за руку, хотела тотчас бежать, но Алексей Петрович удержал меня.

— Погодите,—сказал он жалобно.

— Я боюсь: меня тетенька ищет.

— Ну, так до завтра; не забудьте ваших слов. А я теперь пойду говорить с вашей маменькой.

— Ах, нет, погодите! могут догадаться; лучше вы через час приезжайте.

— Хорошо, прощайте!

И Алексей Петрович поцаловал мою руку. Дрожь пробежала по мне, и какое-то особенное чувство овладело мной: в первый раз цаловали у меня руку, будто то был знак, что я уже не девочка... Проходя прихожую, где вечно лежала собака, привязанная на цепи, я думала: вот злая собака сейчас своим лаем возвестит всех, где я была; но она свернувшись дремала и только при моем появлении приподняла и тотчас закрыла свои заспанные глаза, да стукнула раза два хвостом в знак приветствия. Я вошла в детскую, мне казалось, что на моей щеке губы Алексея Петровича оставили огненный знак; я закрыла щеку рукой, но и на руке мерещился мне тот же знак,—я совершенно смешалась. Но беспокойство мое было напрасно: отсутствия моего не заметили...

Ровно через час собака залилась лаем. Степанида Петровна радостно заглянула в прихожую и с торжественной улыбкой сказала:

— А вот и Алексей Петрович.

Но, встретив мой взгляд, полный гордости и презрения, она смутилась и поспешно отвернулась...

Я села в угол и решительно не сводила с нее глаз: она как-то странно конфузилась, вертелась на своем стуле, наконец переменила

место: казалось, мои глаза как огонь жгли ее совесть... Наконец она не выдержала и сердито спросила:

— Что ты вытаращила глаза?

— Я стараюсь прочесть в ваших глазах, сколько вы сегодня лжи и доносов сделали маменьке.

— Ах, боже мой! что с тобой? да ты так дерзко смотришь! Ну, погоди, завтра тебе будет за все.

— Посмотрим!—сказала я так выразительно, что тетушка побледнела и превратилась вся в удивление...

Гости разошлись, но Алексей Петрович еще остался...

Я легла спать в страшном волнении, в первый раз чувствуя какое-то достоинство: меня любят, я выйду замуж, больше никакой мысли не могла я связать в голове... Утром я стала, по обыкновению, собираться к учителю, но маменькина горничная с улыбкой сказала мне:— «Барышня, маменька не приказала вам сегодня ходить к учителю... поздравляю вас, барышня!..»— прибавила она значительно.

— С чем? — спросила я, невольно вздрогнув.

— Полноте, барышня! Я, ведь, слышала, как Алексей Петрович разговаривал с маменькой; вы теперь невеста... так подарите мне старый салоп.

Степанида Петровна еще лежала в постели и, казалось, спала, мы говорили тихо,—но при слове «невеста» она вскочила, с испугом осмотрелась кругом и дико закричала:

— Кто? какая невеста?

Я знаком просила горничную молчать.

Тетушка взволновалась. Я начала смотреть на нее по вчерашнему.

— Что же ты нейдешь? уж половина десятого,—сказала она с беспокойством.

— Не хочу,—отвечала я презрительно.

Она все заметней терялась, но когда Александра Семеновна радостно поздравила меня, как невесту, Степанида Петровна задрожала и рухнулась на стул... ноги ей изменили... она закрыла лицо руками и заплакала.

Вдруг все засуетились в детской, глухой шум пролетел всюду: «маменька идет! маменька!»... Еще в прихожей слышались твердые шаги, — маменька величественно вошла в детскую.

Я поцаловала ее руку и возвратилась на свое место... Маменька начала так:—«Очень хорошо! Так-то вы себя ведете? Я все знаю...» Тут она склонила голову на сторону, отчего во всей ее фигуре еще резче выразилось чувство материнской гордости, и продолжала; — «Ваше счастье, что вы имеете такого отца и такую мать... вы думаете, что он женится за ваше лицо? Нет, из уважения к вашему отцу и матери...» И переменив величавый тон на простой и снисходительный, она заключила:

— Отчего ты не сказала мне, что он хочет жениться на тебе? А?

— Оттого, что я вас совсем не видала...

Маменька, немного смущенная смелым моим ответом, трагически сказала:—«Хорошо! Теперь все кончено! желаю, чтоб вы жили так же, как ваш отец с матерью».

У меня невольно вырвалось:—«не дай бог!»— Заметив только движение моих губ, маменька сердито спросила:—«Что?»...

Я молчала. Видя в своей дочери такое равнодушие, она поспешила покончить сцену, обещавшую ей гораздо больше эффекту...

— Ну, поздравляю — и вот тебе мое благословение! — Она сделала крест на воздухе и выразительно протянула мне руку... Но не знаю, что-то удерживало меня поцаловать ее... Напрасно Александра Семеновна тихонько делала мне умоляющие знаки: какое-то новое странное чувство говорило во мне все громче и громче, и я не двигалась... Наконец, маменька, оскорбленная, прижала отвергнутую и усталую руку к груди, с презрением осмотрела меня с ног до головы и быстро пошла из детской, сосредоточив в своей походке весь остаток величия.

Сестры и братья радовались моей смелости, Александра Семеновна бранила меня и охала. Степанида Петровна сидела как убитая с поникшей головой; коса ее была распущена, она держала в руках гребенку и бессмысленно смотрела на нее; только изредка ее взгляд падал на меня... Наконец, она наскоро оделась и ушла с чрезвычайной поспешностью...

Вечером, когда приехал Алексей Петрович, папенька привел его в детскую и сказал:—«Вот вам и жених!»

И больше ничего.

Сватовство происходило очень оригинально, как рассказал мне Алексей Петрович. В первую минуту маменька не могла скрыть удивления, что он женится на мне, и поправилась так:

«впрочем, вы не смотрите на нее,—если ее приодеть, она будет очень недурна»... Он просил ее до времени держать его предложение втайне, она обещала, но в тот же день поехала рассказывать своим знакомым, что вот каким они пользуются уважением: на дочери их женится богатый человек, дворянин, да уж и у другой дочери есть жених, хоть не так богат, но зато ума и учености необыкновенной...

А на другой день, когда Александра Семеновна чесала ей голову, она говорила ей:—«Да что она думает о себе! Разве я не имею над ними власти? я мать! хоть я и жена музыканта, а и смотреть не хочу на Алексея Петровича, даром что он дворянин. Да еще посмотрим, правду ли он говорит: может просто деревнишка в пять голодных душ...»—Тут она заливалась смехом.— «Пожалуй, дворянки-то наши придут к отцу, к матери за куском хлеба... Только скажите им, что выгоню вон... ничего не дождутся!» И она так горячилась, будто ее дочери уже стояли перед ней в рубище, окруженные кучей голодных детей, с протянутыми руками...

Дедушка не выпускал из рук календаря, читая всем нравы, наклонности и будущую судьбу моего жениха...

Бабушка с радости выпила лишнюю чарку.

Дяденька в первый раз поцаловал меня в лоб и сказал:—«Поздравляю тебя, мамзель На-та-ли-я!»

Степанида Петровна не возвратилась домой: она осталась у бабушки и написала маменьке письмо, наполненное упреками за сближение ее сестры с сыном важного человека, за тиранское обхождение с ней самой и за многое другое...

Гнев маменьки обрушился на бабушку...

Наконец, и сестра София сделалась невестой. Маменька объявила, что ей не-из-чего давать нам приданое, и мы стали думать о нем сами. Когда Алексей Петрович делал мне подарок, маменька приходила в детскую и ласково говорила тетеньке:

— Посмотрите, какой мне подарок сделал Кирило Кирилыч:—да-с, не дворянский подарок; он только триста рублей стоит...—Наконец раз она призвала нас и торжественно вручила нам по триста рублей самыми мелкими ассигнациями, так что пачки казались довольно велики, и по старому шелковому платью; я не хотела брать, но побоялась новой сцены...

Брат Иван успел наговорить дедушке о наших женихах бог знает каких чудес. И старик вечером, когда тетенька разливала чай, садился к ней и начинал говорить:

— Сидишь себе, ничего не знаешь, а, ведь, как подумаешь, нынче не то, что прежде: бывало, генерал старый, а нынче едва борода покажется, уж и генерал!

— О каком генерале вы говорите, Петр Акимыч?

— Ну, разумеется, о каком! Посмотришь, такой худой...

Дедушка считал моего жениха генералом.

ГЛАВА XII

Между тем дяденька почти жил у нас: так завладели им карты.

Раз прибежала к нам бабушка впопыхах.— «Здравствуйте, мои голубчики! Что мне делать с Семеном? Он все ловит какую-то крысу? Лег спать да к ряду двое суток и проспал; ничего не ест, не пьет, а глаза большие, большие... А все проклятые карты, Наташа! Месяц тому назад он проигрался,—вынул ломбардный билет, слышу, все деньги считает, а потом я уж их не видала... Господи! право, наказанье! Страшно домой итти. Говорит: маменька, посмотрите, крыса бежит, а ей богу, Наташа, никакой крысы нет... Крадется за ней, ловит ее,—все вверх дном перевернет, да еще бранится; вы, говорит, мешаете мне поймать ее, вы ими, говорит, меня кормите, оттого я ничего и не ем... Каково? Ведь, он просто рехнулся! Сначала я думала, шутит, да он так дико смотрит, что мороз по коже пробегает!»

Мы упросили бабушку остаться у нас обедать.

Вечером в прихожей собака вдруг страшно залаяла... Вбегаю—и вижу дяденьку. Он сбросил с вешалки чужие шубы и сделал из них посреди комнаты гору, а свою шубу старательно растянул по всей вешалке. Собака горячо вступилась за

шубы, вверенные ее присмотру — дяденька попробовал унять ее лаской, вежливо попросил у нее лапу,—но она, шипя и задыхаясь, становилась на задние лапы и почти висла на ошейнике... Я приласкала ее, она замотала хвостом, но все еще глухо ворчала, бросая дикие взгляды на дяденьку...

— Не подходите к Трезору, дяденька! он вас укусит!

— Ничего, не бойся, мамзель Наталия. Уж меня и так крыса укусила за палец. Так больно! И дяденька страшно изменился в лице, а потом улыбнулся.—«Ну, да я ее!»—Он подмигнул мне глазом и дико засмеялся: — «Теперь не будет кусаться.»

— Дяденька, не стойте здесь; пойдемте в детскую.

— Нет, я пойду в залу.—Понизив голос, он таинственно спросил меня. — А что, играют в карты?

— Играют, дяденька.

— Гм! — и он нерешительно пошел в залу. Я стала у дверей и следила за ним...

В зале играли в бостон маменька, Кирило Кирилыч и папенька. Ни с кем не здороваясь, дяденька сел у стола. Он внимательно следил за игрой и заливался диким смехом, если кто ошибался. Сдали новую игру. Кирило Кирилыч объявил игру, сделал ошибку и проиграл... Дяденька протянулся через стол, спокойно прицелился и дал ему щелчка в лоб, крикнув: «дурак! ведь дама-то уж вышла!»

И он раскрыл взятку и пристально смотрел на роковую даму... Кирило Кирилыч в остолбе-

нении смотрел на своего обидчика... Тот молчал, но глаза его, все еще устремленные на даму, сделались необыкновенно велики. Наконец, он первый прервал молчание, заговорив о крысах, которые украли у него деньги.

— Что ты, Семен? здоров ли ты?—спросила встревоженная маменька.

— Ха, ха, ха! я болен! Нет-с, извините! Я хочу сбыть старые грехи... У всех, у всех буду прощенья просить... Так уж надо... не правда ли?..

Последний вопрос относился к Кириле Кирилычу. Не дождавшись ответа, дядюшка пошел в прихожую.

Здесь он опять вздумал приласкаться к Трезору; тот разорвал ему полу.

— Тьфу ты пропасть! его ласкаешь, а он кусается! А дома батюшка?

— Дома.

— Позовите его, я хочу с ним поговорить.

Дедушка явился удивленный.

— Здравствуй, Семен, зачем тебе нужен отец, которого ты...

— Здравствуйте, батюшка,—перебил его сын ласково.

И дедушка забыл свои жалобы.

— Простите меня, батюшка!

И сын бухнулся в ноги своему отцу, который в испуге отскочил и странно посмотрел на всех нас, будто спрашивал объяснения такому невероятному событию...

Дяденька встал, слезы текли по его бледным щекам; робко подошел он к отцу.

— Вы простили меня, батюшка?

— Бог с тобою, Семен.

И дедушка махал своими длинными руками, которые чуть не касались потолка, и отирал рукавом слезы.

— Дайте вашу руку, батюшка.

— Что ты, Семен, зачем тебе?

И дедушка пятился от него.

— Дайте руку сыну! — сказал трогательно дяденька.

Отец невольно повиновался. Сын благоговейно приложился к его руке и с какой-то напыщенной торжественностию вышел из детской.

Мы были поражены чувствительностию дяденьки, а дедушка не верил своему счастию. Язык его пришел в невероятное движение.

Дня через четыре дядюшка окончательно помешался. Он прибежал в детскую без фуражки: его лицо посинело, голос ослаб...

— Спасите меня, ради бога, спасите! меня крысы заедят, даже по улице за мной гнались...

Рыдание помешало ему договорить.

Мне стало жаль его... Где тот грозный дяденька, который никого, ничего не боялся? Он дрожит и плачет, как некогда дрожал и плакал перед ним его бедный племянник!

— Дяденька, не плачьте! останьтесь у нас,— сказала я ему.

Дяденька приподнял голову, посмотрел на меня ласково и тихо сказал.—Хорошо, Наташа, я останусь... Но вдруг он вздохнул и с испугом спросил:—А мать? а мать ваша?.. а Кирила Кирилыч?..

На другой день его обманом отвезли в сумасшедший дом. Не скоро с ним сладили. Па-

пенька предложил ему ехать на охоту, он согласился. В охотничьем платье, в огромных сапогах, он невольно рассмешил нас...

— Прощайте — говорил он самодовольно, расхаживая по комнате:—еду на охоту, уж задам я Трезору! Жаль, не дают ружья: я бы попробовал убить хоть одну крысу.

Он скоро умер.

Дедушка не хотел верить, что его сын помешался.

— Что вы меня уверяете! Он недавно цаловал у меня руку!

— Уж он тогда помешался.

— Вздор, не верю! говорит: «простите, батюшка». Разве так говорят сумасшедшие?.. даже в ноги поклонился... нет, вы меня не дурачьте!

Меня сильно потрясло сумасшествие дяди. Я забыла даже свою скорую свадьбу, но маменька напомнила мне о ней с упреками за неисполнение разных обычаев: зачем я не надеваю обручального кольца, не шью себе подвенечного платья атласного? Она ставила мне в пример сестру Софью, которая строго исполняла все обычаи...

Накануне свадьбы, когда мы укладывали чемодан, чтоб завтра ехать прямо из церкви в деревню, явилась в детскую маменька, снова благословила меня, прослезилась и напечатлела на моем челе прощальный поцалуй.

В день свадьбы я оделась очень просто— в белое кисейное платье с высоким лифом; голову причесала гладко; ни одной ленточки, никакого галантерейного украшения не было на мне.

Тетенька пришла в ужас.

— Ах, боже мой! Да Алексею Петровичу будет стыдно венчаться с такой невестой. Ну, пожалуйста, надень хоть мои бирюзовые серьги!

Но я не надела.

Пробило двенадцать. Я вышла в залу, где мать и отец ожидали меня с образом, хлебом и солью. Дедушка надел свое парадное платье: белую косынку, скрывшую его вечный галстух, канареечного цвета жилет, синий фрак с золотыми пуговицами, талия которого приходилась на крыльцах, а фалды висели до пят. Сзади головы дедушки не было видно за воротником фрака; он не мог поворачивать ее, и по сторонам ничего не видал, точно лошадь с шорами. Демикотоновые, розовые, очень узкие панталоны обрисовывали его тощие, бесконечно длинные ноги; на нем были сапоги со скрыпом, так что, когда он ходил, казалось, будто он играл на гармонике...

— Где же гости?—спросил он с неописанным удивлением.

— Никого не будет,—сказали ему.

Дедушка просто обиделся.

Но взамен гостей, зала скоро наполнилась домашними, которые пришли посмотреть, как меня отпустят к венцу. Даже Трезор, пользуясь суматохой, с веревкой на шее, тихонько забрался под стол, откуда с видимым удовольствием следил за всей церемонией...

Меня стали благословлять. По приказанию тетушки, я целовала образ и клала земные поклоны... потом началось прощанье...

— Прощай, желаю тебе счастья!..—сказал отец, с уверенностью и спокойствием, передавая

свою дочь на всю жизнь человеку, которого знал только по имени... Зато маменька разыграла сцену трагическую...

Тетенька так плакала, что у меня самой брызнули слезы. Она нас любила; я тоже в ту минуту почувствовала, что люблю ее...

Ваня, растроганный нашими слезами, шепнул мне:

— Что теперь сама плачешь, Наташа?..

Я отерла свои слезы.

— Прощай, Наташа!—говорила бабушка, которая с горя немножко уж выпила: — обними свою бабушку.

Я обняла ее, но прощаясь с ней, не чувствовала особенной горести.

— Прощайте, дедушка!

— Прощай, Наташа! Не забывай: в сентябре ему будет счастье во всем,—октябрь для него не хорош,—февраль...

— Хорошо, хорошо, дедушка; прощайте!

— Нет, ты выслушай: в феврале может делать покупки, продажу...

— Полно, Петр Акимыч! вот, с глупостями пристал!—крикнула на него бабушка,

Он с гневом кинулся к ней.

— Что! небось не нравится? а все с досады, зачем правду там сказано: мотовка, сварлива, болтлива!

И он пропел жене своей всю старую песню...

А я в то время прощалась с сестрами и братьями. Сердце у меня сжалось... Всего тяжелей было мне расставаться с Ваней: не знаю почему, мы всегда с ним делили горе, хоть он был гораздо моложе меня...

— Ваня не шали.

— Теперь можно; дяденьки нет!

— Ну, прощай.

И я опять поцаловала его.

— Наташа, поцалуй еще раз Лизу!

И брат приподнял ее до меня, я исполнила его желание...

Отец в шубе показался в дверях:

— Пора, опоздаем!

Зарыдав, я еще раз перецаловала всех и выбежала в прихожую; все хотели последовать за мной, но отец запретил, опасаясь, что новые прощанья нас задержат...

Дедушка махал своими длинными руками и кричал мне вслед:

— Помни же, Наташа, октябрь месяц и март тоже...

Трезор, с веревкой на шее, один проводил меня до кареты.

— Прощай, Трезор!

В ответ он ласково замахал мне хвостом...

— Прощайте, барышня,—сказал Лука, подсаживая меня:—желаю вам всякого благополучия...

Сел и отец: дверцы захлопнулись... Когда карета поехала, я в последний раз взглянула на дом, где столько я плакала: окна были усеяны головами, дедушка все продолжал махать мне... Все мне кланялись... Но скоро все исчезло, только Трезор, с веревкой на шее, уныло сидел на крыльце, провожая глазами карету...

* *
*

Здесь кончается рукопись, случайно попавшая в мои руки. Что сделалось с ее действующими

лицами, я не знаю. В одном месте своих записок героиня называет себя старухой. Из этого видно, что события описанные ею, не относятся к настоящему времени. В самом деле, многим событиям ее детства теперь просто не поверят. Во всяком случае, если они своим резким изображением всего грубого и безнравственного, что может быть в домашнем воспитании, при беспечности и дурных нравах родителей, — заставят оглянуться на самих себя и устыдят тех, кто сколько-нибудь виноват подобным образом перед своими детьми и перед обществом,—то это, я думаю, может служить достаточной причиной, почему я их печатаю.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

I

Предисловие 3
Авдотья Панаева и Некрасов 5
Стихи Некрасова, посвященные Авдотье Панаевой 79
Письмо Некрасова к Гаевскому 94

II

О «Семействе Тальниковых» 97
Семейство Тальниковых. Записки, найденные в бумагах покойницы 103

ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ О ВОСПОМИНАНИЯХ АВДОТЬИ ПАНАЕВОЙ

«Эти воспоминания давно ждали своего переиздания: в них — живая картина театральной и литературной жизни тогдашнего Петербурга за целый ряд десятилетий — с 40-х по 70-е годы. Эпоха важная и знаменательная. Наделенная несомненным талантом, сама—автор нескольких романов, Панаева в ярких чертах изобразила в своих мемуарах Белинского, Некрасова, Тургенева, Льва Толстого, Герцена, Грановского, Достоевского, Добролюбова, Чернышевского, Решетникова и множество людей литературы и искусства.

Корней Чуковский исправил ошибки и обмолвки Панаевой, раскрыл инициалы, установил порядок путанной хронологии и дал краткие, но очень нужные примечания.

Книга издана очень изящно».

„Известия ВЦИК“ № 185 от 14/VIII—27 г.

* * *

«Воспоминания» Панаевой необходимы всякому исследователю русской литературы и общественности XIX в., они очень полезны читателю с литературной и историко-политической подготовкой, они поучительны для современного советского литератора и журналиста... Отдельные места мемуаров Панаевой, производящие цельное впечатление и носящие печать значительного беллетристического таланта или сильного чувства (например, страницы, посвященные преследованиям цензуры, последним дням Добролюбова, пожару Апраксина рынка и т. д.), могут быть использованы в качестве иллюстративного материала в школе или литературном кружке при изучении соответствующей эпохи.

Обложка книги, удачный формат, хороший, четкий шрифт очень выгодно выделяют с внешней стороны настоящее издание «Воспоминаний».

„Правда“ № 172, 31/VII—27 г.

* * *

«В свете современного научно-марксистского понимания, достаточно широко охватившего сознание читательских масс, старые мемуары и читаются, и воспринимаются совсем по новому. Только что переизданные изд. «ACADEMIA» «Воспоминания А. Я. Панаевой», под редакцией К. И. Чуковского, передающие бытовой колорит литературной жизни и нравов за целое тридцатилетие XIX в., рисуют фигуры всех крупнейших поэтов, писателей и критиков, при чем, почти бессознательно, характеризуют их именно с точки зрения их классовой принадлежности»...

„Вечерняя Красная Газета“ № 209, (1527), 5/VIII—27 г.

* * *

«Автор этой замечательной книги, Авдотья Панаева, писательница 50—60 гг., была близкой подругой и фактической женой Н. А. Некрасова. Ее «Воспоминания» выделяются даже из великолепного ряда мемуаров необыкновенной живостью, наблюдательностью, простотой, яркостью изложения.

Всякому, кто интересуется прошлым русской литературы и общественности, эта книга понадобится. Попав в руки молодого человека, она с пользой и увлечением будет прочитана. Издана книга на редкость хорошо, снабжена культурным комментарием К. И. Чуковского».

„Уральский Рабочий“ от 20/VIII—27 г.

* * *

«Да, конечно,—это роман, эти воспоминания Авдотьи Панаевой. Несколько старомодный, наивный, кое-где чувствительный, кое-где насмешливый. И еще: очень женский роман. Разумеется—его ведь и написала Авдотья Яковлевна Панаева...

Современный читатель, получив чудесно изданный томик «Воспоминаний» Панаевой, получил в сущности две книжки: в примечаниях и комментариях—хронику литературных событий—мемуары, в строгом смысле слова, а в самом тексте—роман.

Его действующие лица? Весь литературный мир этой эпохи. Достаточно назвать: Аксаковы, Анненков, Белинский, Боткин, Герцен, Грановский, Гончаров, Григорович, Добролюбов, Достоевский, Кетчер, Лермонтов,

Некрасов, Одоевский, Огарев, Решетников, Салтыков-Щедрин, Лев Толстой, Тургенев, Фет. Она была знакома с Петрашевским и даже с Гарибальди. Глинка ей играл увертюру «Руслана», Варламов пел романсы. И, разумеется, весь пестрый, весь блестящий мир театральных кулис! От Каратыгина до Щепкина. Западники и славянофилы. Литераторы—дворяне, вносившие в литературу оттенок барственной прихоти, и первые разночинцы «семинаристы», влившие новое демократическое содержание в литературу.

Панаева—недаром прежде, чем приняться за мемуары, исписала пуды бумаги, как романистка. Это ей пригодилось. Она сделала живыми тех, о ком воспоминала. Они заговорили на ее страницах. Мы теперь их видим, теперь их слышим... Некрасов и Белинский воспитали Панаеву. Это их влияние сказалось на лучших ее страницах. Вот почему этот роман воспоминаний, который воскресил тени литературного нашего пантеона, будет читаться и современным читателем».

„Вечерняя Москва“ № 155, 12/VII—27 г.

* * *

«Воспоминания» Авдотьи Панаевой—яркий и богатый памятник литературного быта 40-х, 50-х и 60-х годов XIX столетия. В настоящем издании первоначальный текст восстановлен полностью. Кроме того, редактором проделана кропотливая работа по раскрытию инициалов и обозначений; исправлены обильные неточности в датах, искажения имен и фамилий, даны фактические справки и примечания. Эта редакторская правка текста и это комментирование является насущно необходимыми, и работа эта проделана К. Чуковским с хорошим знанием дела.

„Красная Новь“ № 10, Октябрь 1927 г.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ACADEMIA»

Ленинград, Просп. Володарского, 53-б. Телеф. 1-38-99.
Москва, Тверская, 26. Тел. 3-80-99.

Цена 1 р. 50 к.
Переплет 30 к.